

Валишевский К.Ф. Роман императрицы. Исторический очерк. М.: СП «Квадрат», 1994.

С. 14–18.

Однако в этой скромной жизни было нечто, что приближало принцессу Софию к ее будущей судьбе. Она была лишь маленькой немецкой принцессой, воспитывавшейся в маленьком немецком городке, окруженном жалким, печальным, песчаным горизонтом. Но близкое соседство бросало на нею гигантскую тень, принимавшую вид привидения или чарующею миража. В этой провинции еще незадолго до того по городу расхаживали солдаты, показывая странные мундиры и нарождающийся престиж державы, недавно появившейся в Европе и внушавшей уже удивление и ужас, возбуждавшей беспредельные опасения или надежды. В самом Штеттине подробности осады, которую недавно пришлось выдержать от великого Белого царя, оставались у всех в памяти. В семье Фигхен Россия, огромная и таинственная Россия, ее бесчисленное войско, неисчерпаемые богатства, самодержавные ее государи служили беспрестанной темой интимных разговоров, к которым присоединялась, может быть, и некоторая доля вожделий и даже смутное предчувствие. Почему же нет? Вследствие браков, соединивших дочь Петра I с принцем Голштинским, внуку Иоанна, брата Петра, с герцогом Брауншвейгским, целая сеть взаимных нитей и притяжений образовалась между великой северной державой и многочисленным племенем хилых немецких княжеств. Семья Фигхен оказалась особенно втянутой в эту сеть. Когда в 1739 г., в Эйтине, Фигхен встретила своего двоюродного брата Петра-Ульриха, она узнала, что мать его была прусской царевной, дочерью Петра Великого. Она узнала и историю другой дочери Петра Великого, Елизаветы, едва не ставшей невесткой ее матери.

Вдруг разнеслась весть о восшествии на престол этой самой принцессы, печальной невесты принца Карла-Августа Голштинского. 9 декабря 1741 г. Елизавета посредством одного из переворотов, становившихся частыми в истории северной дворцовой жизни, положила конец царствованию маленького Иоанна Брауншвейгского и регентству его матери. Каков же должен был быть отклик этого события в семейном кругу, где росла Екатерина! Разлученная жестокою судьбой с избранным ею супругом, новая императрица сохранила не только о молодом принце, но и о всей его семье трогательное воспоминание. Незадолго еще до того, она просила прислать портреты братьев покойного принца. В то время мать Фигхен несомненно припомнила предсказание каноника-хироманта. Как бы то ни было, она не замедлила написать своей двоюродной сестре и принести ей свои поздравления. Ответ на них способен был поощрить нарождающиеся надежды. Елизавета ответила не только любезно, но и нежно, объявляя себя очень тронутой вниманием, и просила прислать портрет своей сестры, принцессы Голштинской, матери принца

Петра-Ульриха. Она, по-видимому, собирала коллекцию портретов; не крылось ли в этом какое-то таинственное указание?

Тайна вдруг разоблачилась. В январе 1742 г. принц Петр-Ульрих, «чортушка», как обыкновенно звала его императрица Анна Иоанновна, которую беспокоило его слишком близкое родство с русским царствующим домом, маленький троюродный брат, мельком виденный Фигхен, исчез из Киля и появился через несколько недель в Петербурге: Елизавета вызвала его с тем, чтобы объявить его своим наследником.

Это событие не оставляло места сомнениям. В России, бесспорно, взяла верх голштинская кровь, кровь матери Фигхен, и восторжествовала она над брауншвейгской кровью. Голштиния или Брауншвейг, потомство Петра Великого или потомство его старшего брата Иоанна, умерших без прямых наследников мужского пола, — вся история русскою царствующего дома с 1725 г. заключалась в этой дилемме. По-видимому, торжествовала Голштиния, и тотчас же счастье нового императорского принца, едва установившись, начало уже отражаться на его скромных родственниках в Германии. Лучи его достигли и Штеттина. В июле 1742 г. отец Фигхен был возведен Фридрихом в чин фельдмаршала — это была любезность, по-видимому, по адресу Елизаветы и ее племянника. В сентябре секретарь русского посольства в Берлине привез самой принцессе Цербстской портрет государыни, обрамленный великолепными бриллиантами. В конце того же года Фигхен отправилась с матерью в Берлин, где знаменитый французский художник Пэн написал ее портрет. Фигхен знала, что этот портрет должен быть отправлен в Петербург, где любоваться им будет не одна императрица.

Однако прошел целый год, не принеся с собой более решительных событий. В конце 1743 г. вся семья оказалась в сборе в Цербсте. Вследствие пресечения старшей ветви, незадолго перед тем цербстский престол перешел во владение родного брата Христиана-Августа. Весело отпраздновали Рождество среди небывалого комфорта и веселых предположений насчет будущего, не говоря уже о более смелых мечтаниях. Не менее весело начали и новый год, когда эстафета, прискакавшая во весь опор из Берлина, заставила вскочить со своих стульев не только порывистую Иоанну-Елизавету, но и ее более положительного супруга. На этот раз оракулы были правы, и хиромантия торжествовала блестящую победу: эстафета привезла письмо от Брюммера, гофмейстера великого князя Петра, бывшего Петра-Ульриха Голштинского, и письмо это, адресованное на имя Иоанны-Елизаветы, приглашало ее немедленно пуститься в дорогу вместе со своей дочерью с тем, чтобы посетить императорский двор либо в Петербурге, либо в Москве.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Прибытие в Россию. — Свадьба

I. Выбор будущей императрицы. — Соперничество и интриги. — Роль Фридриха II. II. Отъезд в Россию. — Путешествие. — От Берлина до Риги. — Россия обрисовывается. — Поезд родственницы императрицы. — Императорские сани. — Приезд в Петербург. — III. От Петербурга до Москвы. — Прием Елизаветы. — Уверенность в успехе. — Политические предприятия принцессы Цербстской. — Борьба с Бестужевым. — IV. Великий князь. — Воспитание кандидата на престолы России и Швеции. — Два немецких преподавателя. — Брюммер и Штелин. — Дебют Фигхен. — Она учится русскому языку. — Болезнь и выздоровление. — Религиозный вопрос. — Пастор или русский священник? — V. Мать Фигхен намеревается управлять Россией. — Неподозреваемая опасность. — В Троице—Сергиевой лавре. — Катастрофа. — Отозвание Шетарди. — Торжество Бестужева. — Портрет Елизаветы. — VI. Обращение принцессы Софии в православную веру. — Сопроотивление Христиана—Августа. — Публичное исповедание. — Обручение. — Екатерина Алексеевна. — Путешествие в Киев. — Мать и дочь. — Жених и невеста. — Болезнь великого князя. — Жизнь в Петербурге. — Граф Гилленбург. — Пятнадцатилетний философ. — VII. Свадьба. — Церковные и придворные торжества. — Апартаменты новобрачных. — Морская церемония: «дедушка русского флота». — Отъезд принцессы Цербстской.

I

Брюммер был старинный знакомый принцессы Иоанны-Елизаветы. Он был гувернером великого князя и, по всей вероятности, сопровождал своего воспитанника и в Эйтин. Письмо его было пространно и исполнено подробными указаниями. Принцессе следовало собраться возможно скорее, и свита ее, сокращенная до минимума, должна была состоять из одной статс-дамы, двух горничных, одного офицера, повара и двух или трех лакеев. В Риге ее будет ожидать приличная свита, которая и проводит ее до места пребывания двора. Ее мужу было строго воспрещено ее сопровождать. Ей надлежало хранить цель своего путешествия в глубокой тайне. На расспросы ей следовало отвечать, что она едет к императрице с тем, чтобы поблагодарить ее за оказанные ей милости. Ей разрешалось, однако, открыться Фридриху II, которому все было известно. К письму был приложен чек на одного берлинского банкира, предназначенный на покрытие путевых расходов. Сумма была скромная: 10.000 р., но, по словам Брюммера, важно было не возбуждать подозрений присылкой более значительного куша. Переступив границу России, принцесса ни в чем нуждаться не будет.

Само собой разумеется, что Брюммер посылал это приглашение, похожее на приказание, и властные инструкции от имени императрицы. Впрочем, он не пояснял намерений государыни. Другой человек взял на себя этот труд. Через два часа после приезда первого курьера прискакал второй и привез письмо от прусского короля. Фридрих все объяснял. Он, впрочем, приписывал себе решение, принятое Елизаветой, остановившей свой взор на молодой принцессе Цербстской. Он в это дело, действительно, вмешался, и вот каким образом.

Матримониальные вожеления, конечно, не замедлили возгореться вокруг «чортушки», ставшего наследником лучезарной короны. Вскоре, начиная с бывшего губернера великого князя, немца Брюммера, и кончая лейб-медиком императрицы, французом Лестоком, каждое лицо, игравшее роль при дворе, превосходившем по интригам все дворы Европы, имело свою кандидатку и партию, поддерживавшую ее. Заходила поочередно речь о французской принцессе, о саксонской принцессе, дочери польского короля, о сестре короля прусского. Саксонский проект, поддерживаемый всемогущим канцлером Бестужевым, имел одно время наибольшие шансы на успех.

«Саксонский двор, — писал впоследствии Фридрих, — будучи раболепным слугой России, намеревался пристроить принцессу Марианну, вторую дочь польского короля, с целью усилить свое влияние... Русские министры, настолько алчные, что они, кажется, способны были бы торговать самой императрицей, продали преждевременно свадебный контракт: они получили щедрые дары, а король польский лишь слова...»

Принцесса Саксонская была шестнадцати лет от роду; она была тщательно воспитана и представляла подходящую партию; к тому же этот брак должен был служить основанием обширной комбинации, имевшей целью, согласно замыслам Бестужева, соединить Россию, Саксонию, Австрию, Голландию и Англию, т.е. три четверти Европы, против Пруссии и Франции. Эта комбинация не удалась, и неудаче ее всеми силами способствовал Фридрих. Однако он отказался расстроить эти планы кандидатурой своей сестры, принцессы Ульрики, которая пришлась бы по вкусу Елизавете. «Было бы жестоко, — говорил он, — принести в жертву эту принцессу». На некоторое время он предоставил своего посланника, Мардефельда, его собственным, довольно ограниченным силам и силам его французского коллеги, де-ла-Шетарди, также не особенно значительным в то время. Мардефельд находился в немилости с некоторых пор, и Елизавета подумывала даже о том, чтобы заставить его отозвать. Что касается де-ла-Шетарди, то, сыграв значительную роль при восшествии на престол новой императрицы, он сделал ошибку и не сохранил за собой завоеванного им положения. Он оставил свой пост и, вернувшись на него, не нашел уже прежних привилегий. Впрочем, его правительство его не поддерживало и заставляло его поминутно требовать инструкций. Он даже спрашивал себя: «может быть, король все так же настроен против намеков на возможность брака великого князя с одной из сестер короля, сделанных после восшествия на престол императрицы?»

Однако Фридрих не дремал. Мысль об отправке в Петербург портрета, написанного Пэном в Берлине, исходила от него. Одному из братьев матери Фигхен, принцу Августу Голштинскому, было поручено преподнести его царице. Портрет был неважен, по-видимому. Пэн уже состарился. Однако он понравился императрице и ее племяннику. В решительную минуту, в ноябре 1743 г., Мардефельд получил приказание решительно выдвинуть принцессу Цербстскую или, если она не понравится, одну из принцесс Тессен-Дармштадтских. Не пользуясь личным влиянием, прусский агент и его

французский коллега решили заручиться помощью двух упомянутых нами лиц, Брюммера и Лестока, и, по свидетельству де-ла-Шетарди, результатом этого союза была победа. «Они представили государыне, что принцесса из влиятельного дома не окажется достаточно покладистой... Они также ловко воспользовались некоторыми духовными лицами, чтобы внушить ее величеству, что, вследствие незначительного различия между обеими религиями, католическая принцесса будет опаснее и в этом смысле». Может быть, орудуя дальше в этом направлении, они подчеркнули и наличие сговорчивого отца в лице принца Цербстского, который, по словам Шетарди, «был славным малым сам по себе, хотя и необыкновенно ограниченным». Словом, в первых числах декабря Елизавета поручила Брюммеру написать письмо, взволновавшее несколько недель спустя мирный двор, где Екатерина росла под строгим надзором мадемуазель Кардель.

С. 37–40.

В своих «Записках», откуда мы заимствуем эти подробности, Екатерина строго осуждает окружавших ее в то время лиц, не исключая и великого князя; несмотря на ее щедрость, их взаимные отношения уже тогда не отличались сердечностью. Может быть, она поддалась искушению и сгустила краски в этом уголке картины. Следующая записка как будто подтверждает это предположение. Великий князь, заболевший в октябре плевритом, не покинул своих апартаментов и тяготился вынужденным затворничеством. Екатерина писала ему (мы сохраняем слог и орфографию подлинника): «*Monsieur, ayant consulté ma Mère, sachant qu'elle peut beaucoup sur le grand-maréchal (Брюммер), elle m'a permis de lui en parler et de faire qu'on vous permette de jouer sur les instrumens. Elle m'a aussi chargée de vous demander, Monseigneur, si vous voulez quelques Italiens aujourd'hui apres Midy. Je vous assure que je deviendray folle en Votre place s'y on m'otois tous. je vous prie au Nom De Dieu, ne lui montrez pas ces billets. Catherine*».

Эта записка как будто обеляет самое принцессу Цербстскую от обвинений в дурном и вздорном характере, предъявляемых к ней даже ее дочерью. Два месяца спустя, в декабре, мы видим Екатерину в слезах, умоляюще пустить ее к жениху, заболевшему новой и ужасной болезнью. По дороге из Москвы в Петербург Петр принужден был остановиться в Хотилове, так как схватил оспу. Жених Елизаветы умер от оспы. Императрица отстранила Екатерину и ее мать, отослав их в Петербург, и сама принялась ухаживать за великим князем. Екатерине оставалось лишь писать ему очень нежные письма, в которых она впервые употребляет русский язык. Но эта была лишь уловка, так как сочинял их Ададуров, а она их только списывала.

Вторичное пребывание Екатерины в Петербурге было отмечено приездом графа Гюлленборга, посланного шведским двором с известием о совершившемся браке наследника престола Адольфа-Фридриха, дяди Екатерины, с принцессой Ульрикой Прусской. Екатерина видела Гюлленборга

еще в 1740 г. в Гамбурге. Он тогда уже заметил в ней философский склад ума. Он расспросил ее, как идут ее занятия и посоветовал ей почитать Плутарха, жизнь Цицерона и «Причины величия и падения Римской империи» Монтескье. В свою очередь, Екатерина преподнесла ему свой портрет, «портрет философа в 15 лет», составленный ею самой. Она впоследствии отобрала от Гюлленборга подлинник и, к сожалению, сожгла его, а в бумагах графа Гюлленборга, сохранившихся в университете в Упсале, не осталось копии с него. В своих «Записках» Екатерина уверяет, что она сама изумилась, как глубоко и верно она себя понимала. Мы сожалеем, что не имеем возможности проверить ее суждение.

Петр вернулся в Петербург лишь в конце января. Кастера рассказывает, что, обняв великого князя и выказав живейшую радость при свидании, Екатерина вернулась к себе, лишилась чувств и ее три часа не могли привести в сознание. Оспа, действительно, не послужила к украшению великого князя. Рябинки на его лице и огромный парик на голове делали его почти неузнаваемым. Одна только принцесса Цербстская нашла, что он прекрасно выглядит, и тотчас же сообщила об этом мужу. Кастера, по всей вероятности, впал по обыкновению в преувеличение, а принцесса Цербстская, должно быть, вспомнила, что петербургская почта охотно знакомилась с содержанием доверяемых ей писем. Как бы то ни было, вскоре после возвращения великого князя начались приготовления к свадьбе.

VII

В России не бывало еще церемонии подобного рода. Брак царевича Алексея, сына Петра I, совершился в Торгау, в Саксонии, а до него наследники московского престола не были будущими императорами. Написали во Францию, где только что отпраздновали свадьбу дофина; справились и в Саксонии. Как из Версаля, так и из Дрездена пришли самые точные описания, даже рисунки, изображающие малейшие подробности торжества; их надлежало не только повторить, но и превзойти. Как только вскрылась Нева, стали приходить немецкие и английские пароходы, привозя экипажи, мебель, материи, ливреи, заказанные во всей Европе. Христиан-Август прислал несколько цербстских материй, тканых золотом и серебром. Тогда носили узорчатые шелка с золотыми и серебряными цветами на светлом фоне. Они вырабатывались в Англии и Цербсте, занимавшем, по отзыву знатоков, второе место в этом производстве.

День свадьбы, несколько раз отложенный, был окончательно назначен на 21 августа. Празднества должны были продолжаться до 30-го. Доктора великого князя требовали новой отсрочки, так как в марте Петр опять заболел. Казалось, что и целого года было мало для окончательного его выздоровления. Но Елизавета не желала больше ждать, ей между прочим хотелось скорей избавиться от матери Екатерины. Вероятно, были и другие, более веские причины, заставлявшие ее торопиться. Ввиду слабого здоровья Петра

престолонаследие было весьма шатко обеспечено, а память о маленьком Иоанне, заключенном в крепости, все еще тревожила умы. В июне 1745 г. в уборной Елизаветы был найден неизвестный человек с кинжалом в руке. Никакие пытки не могли вырвать у него ни одного слова.

Согласно довольно авторитетным показаниям, принцесса Иоанна-Елизавета продолжала обнаруживать свой несносный характер. Не было некрасивой истории, в которой бы она так или иначе не была замешана в последние недели своего пребывания в России. Она беспрестанно интригует и сплетничает. Она даже обвиняет свою дочь в том, что та имеет ночные свидания с великим князем. Императрица приказывает перехватывать и внимательно читать ее письма. Вместе с тем ей и в голову не приходит пригласить ее мужа на предстоящее торжество. Долгое время принцесса Цербтская сулила Христиану-Августу это приглашение, советуя ему быть к нему всегда готовым и откладывая его со дня на день, с месяца на месяц. Сам Фридрих, введенный в заблуждение Мардефельдом, поддерживал эту надежду в своем фельдмаршале. Наконец Иоанна-Елизавета принуждена была сознаться, что скорее подумывали о том, как бы отправить ее самое домой до торжества.

Из всей семьи на бракосочетании присутствовал лишь брат принцессы. Тут сказалось лукавство Бестужева. Август Голштинский был неуклюж, груб и убог умом и являлся неказовым родственником. Английский посланник Гиндфорд пишет в своих депешах, что он никогда не видывал кортежа, более великолепно, чем тот, что сопровождал Екатерину в Казанский собор. Церковный обряд начался в десять часов утра и кончился лишь в четыре часа пополудни. Православная церковь, по-видимому, добросовестно отпустила свои обязанности. В продолжение последующих девяти дней празднества шли непрерывной чередой. Балы, маскарады, обеды, ужины, итальянская опера, французская комедия, иллюминации, фейерверки - программа была полная. Принцесса Цербтская оставила нам любопытное описание самого интересного дня — дня бракосочетания:

«Бал продолжался всего полтора часа. Затем ее императорское величество направилась в брачные покои, предшествуемая церемониймейстерами, обер-гофмейстером ее двора, обер-гофмаршалом и обер-камергером двора великого князя; за ней шли новобрачные, держась за руку, я, мой брат, принцесса Гессенская, гофмейстерина, статс-дамы, камер-фрейлины, фрейлины. По прибытии в апартаменты, мужчины удалились тотчас же, как вошли все дамы, и двери закрылись. Молодой супруг прошел в комнату, где ему надлежало переодеться. Принялись раздевать новобрачную. Ее императорское величество сняла с нее корону; я уступила принцессе Гессенской честь одеть на нее сорочку, гофмейстерина надела на нее халат, а остальные дополнили ее великолепный домашний туалет».

«За исключением этой церемонии, — замечает принцесса Цербтская, — раздевание невесты берет здесь гораздо менее времени, чем у нас. Ни один мужчина не смеет войти с той минуты, как супруг вошел к себе, чтобы

переодеться на ночь. Здесь не танцуют танца с гирляндой и не раздают подвязок. Когда великая княгиня была готова, ее императорское величество прошла к великому князю, которого одевали обер-егермейстер граф Разумовский и мой брат. Императрица привела его к нам. Его одеяние было схоже с одеянием его супруги, но было менее красиво. Ее императорское величество преподала и свое благословение; они приняли его, стоя на коленях. Она их нежно поцеловала и оставила принцессу Гесенскую, графиню Румянцеву и меня, чтобы мы уложили их в кровать. Я попыталась было выразить ей свою благодарность, но она меня осмеяла».

Мы обязаны также перу Иоанны-Елизаветы описанием апартаментов, отведенных молодым супругам.

«Эти апартаменты состоят из четырех комнат, одна прекраснее другой. Богаче всех кабинет: он обтянут затканой серебром материей с великолепной шелковой вышивкой разных цветов; вся меблировка подходящая: стулья, шторы, занавеси. Спальня обтянута пунцовым, отливающим алым бархатом, вышитым серебряными выпуклыми столбиками и гирляндами; кровать вся покрыта им; вся меблировка подходящая. Она так красива, величественна, что нельзя смотреть на нее без восторга».

Торжества закончились особой церемонией, никогда уже более не повторявшейся. В последний раз был спуск на воду «дедушки русского флота», ботика, построенного, согласно преданию, самим Петром Великим. Указом от 2 сентября 1724 г. Петр повелел спускать его каждый год 30 августа, а остальное время года сохранять в Александро-Невской лавре. После его смерти и ботик и указ были забыты. Елизавета вспомнила про них лишь в 1744 г. и повторила эту церемонию на следующий год по случаю бракосочетания своего племянника. Пришлось построить плот, чтобы поддерживать ботик, так как он уже не держался на воде. Елизавета торжественно взошла на него и поцеловала портрет своего отца, прикрепленный к мачте.

Через месяц принцесса Цербстская рассталась навсегда со своей дочерью и с русским двором. Прощаясь с императрицей, она бросилась к ее ногам, умоляя простить ей причиненные ею неприятности. Елизавета отвечала, что «говорить об этом слишком поздно и что если бы принцесса была всегда так скромна, это было бы гораздо лучше для всех». Описывая сцену прощания, сама Иоанна-Елизавета упоминает лишь о любезности императрицы, взаимных ласках и слезах, пролитых обеими сторонами. Как мы уже видели, придворные слезы дорого не стоили, и Иоанна-Елизавета, несмотря на свои неудачные политические интриги, все же была довольно дипломатична в своих писаниях.

В Риге ее ожидал страшный удар. Ее настигло письмо Елизаветы, поручавшее ей просить Берлинский двор о немедленном отзывании Мардефельда. Это являлось окончательным разрушением надежд, возложенных Фридрихом на посредничество принцессы и постоянно поддерживаемых ею. В день отъезда Иоанны-Елизаветы из Петербурга, 10 октября 1745 г., обнаружилось, что Фридрих подговаривал супруга принцессы Луизы-Ульрики и брата принцессы Цербстской, Адольфа-Фридриха

Шведского, предъявить свои права на Голштинское герцогство. Фридрих находил, что владение этим герцогством несовместимо с владением российским престолом. Одновременно пришли вести об удаче прусского оружия на саксонской границе (при Соре, 30 сент.), и государственный совет, немедленно собравшийся, решил послать корпус на подмогу королю польскому, которому угрожало вторжение в его наследственные владения. С этой минуты присутствие в Петербурге Мардефельда, друга и политического союзника принцессы Цербстской и, следовательно, и ее брата, становилось немыслимым.

Итак, Иоанне-Елизавете удалось без особого труда сделать свою дочь русской великой княгиней. На всех других пунктах, где она развернула свою неусыпную деятельность, поражение ее было полным. Мимоходом она вздумала было сделать своего мужа герцогом Курляндским, но и это ей не удалось.

Все же Екатерина оплакивала, и непритворными слезами, отъезд своей беспокойной матери. Она сама в этом признается. Иоанна-Елизавета во всяком случае была ее матерью и единственным лицом среди ее нового величия, в чьей привязанности она не могла сомневаться, хотя она и не доверяла ее советам. После ее отъезда вокруг Екатерины образовалась большая пустота. С этого же момента, в одиночестве, являющемся стихией сильных натур, началось настоящее воспитание будущей императрицы, — то воспитание, о котором не подумала мадемуазель Кардель.

С. 44–47.

Чернышевы арестованы и также подвергаются еще более настойчивому и, вероятно, не столь мягкому допросу. Но ни с той, ни с другой стороны признаний не последовало. Однако Екатерина упоминает о переписке с Андреем Чернышевым, которую она вела с ним даже во время его пребывания в тюрьме. Она ему писала; он отвечал; она давала ему поручения, и он их исполнял. Предположим, что и в этом случае она поступала невинно. Однако нам придется вскоре быть менее снисходительными к ней. Упреки страшного канцлера по адресу Екатерины касались еще и другой области, в которой он главным образом и намеревался возложить на нее ответственность. Прошло уже девять месяцев с того времени, как великая княгиня заняла роскошное супружеское ложе, столь подробно описанное ее матерью, а престолонаследие все еще не было обеспечено. Лица, озабоченные будущностью империи, не имели даже возможности ухватиться за какую-нибудь надежду в этом направлении.

На ком лежала вина?

Инструкция, составленная Бестужевым для будущей воспитательницы Екатерины, ясно обнаруживает его личное мнение относительно этого вопроса. В целях обеспечения престолонаследия, великую княгиню надлежало побуждать, чтобы «она со своим супругом со всеудобовымышленным добрым

и приветливым поступком, его нраву угождением, уступлением, любовью, приятностью и горячностью обходилась и генерально все то употребляла, чем бы сердце его императорского высочества совершенно к себе привлещи, каким бы образом с ним в постоянном добром согласии жить».

Екатерина в своих «Записках» категорически восстает против этого обвинения:

«Если бы великий князь желал быть любимым, то относительно меня это вовсе было нетрудно; я от природы была склонна и привычна к исполнению своих обязанностей...»

Ее склонности, действительно, впоследствии ясно обнаружались и сомневаться насчет их не приходится. Но и Петр со своей стороны, несмотря на странности своего характера и темперамента, как будто вовсе не обнаруживал в этом отношении отвращения, несогласного с обычным порядком вещей.

Тотчас по приезде в Россию, четырнадцати лет от роду, он влюбился во фрейлину Лопухину. Затем другая фрейлина, Карр, пленяет его сердце, и Екатерине приходится выслушивать новые признания в пылкой любви к этой особе. В 1756 г. он поссорился с Шафировой и со знаменитой Воронцовой, с которой впоследствии снова сошелся, и влюбился в Теплоу. Кроме того, ему к ужину приводят певичку-немку. Затем он ухаживал за некоей Седрапарре, принцессой Курляндской и другими красавицами. Следовательно, загадка так и остается загадкой. Не следует ли искать ее разрешения в одном любопытном документе, изданном лишь недавно и подтверждающем предшествующие показания, почитавшиеся до сих пор сомнительными.

«Великий князь, — пишет Шампо в донесении, составленном для Версальского двора в 1758 г., — сам того не подозревая, был неспособен производить детей, вследствие препятствия, устраняемого у восточных народов посредством обрезания, но почитаемого им неизлечимым. Великая княгиня, не любившая его и не проникнутая еще сознанием необходимости иметь наследников, не была этим опечалена».

Кастера пишет со своей стороны:

«Он (великий князь) так стыдился несчастья, поразившего его, что у него не хватало даже решимости признаться в нем, и великая княгиня, принимавшая его ласки с отвращением и бывшая в то время такой же неопытной, как и он, не подумала ни утешать его, ни побудить искать средства, чтобы вернуть его в ее объятия».

Время оправдало Екатерину и ее защитников. Она имела детей и имела их, или сделала вид, что имела их, от мужа. Надо сознаться, что меры, придуманные канцлером, были тут ни при чем.

Как бы ни были велики способности и заслуги канцлера, он в данном случае не выказал особой мудрости. Может быть, он лучше умел управлять большой империей, чем жизнью юной супружеской четы. Выбор воспитательницы, призванной заменить собою мадемуазель Кардель, был неудачен. Эта честь выпала на долю Марьи Семеновны Чоглоковой; ей было

всего двадцать четыре года; она была красива, добродетельна, любила мужа и имела детей, что, вероятно, вызвало доверие к ней императрицы и ее канцлера. Надлежало, чтобы великокняжеская чета имела всегда перед глазами назидательный пример добродетельных и любящих супругов. Увы, пример этот не привел к добру! Чоглокова была добродетельна, но неопытна. Екатерина ее не взлюбила, и она не сумела ни заставить уважать свой авторитет, ни установить действительный надзор за великой княгиней. Не было ничего легче, как ее провести, и Екатерина с приближенными стала с увлечением предаваться запрещенным удовольствиям и отыскивать поводы к ним. Муж Марьи Семеновны находился в Вене, когда его жена была назначена на свой пост. Вернувшись в Петербург, он без памяти влюбился в одну из фрейлин великой княгини, Марию Кошелеву. Будучи влюблен, он вдвойне ослеп и старался затуманить глаза и своей жене. Вследствие этого у нее на глазах граф Кирилл Разумовский, брат фаворита императрицы, имел возможность ухаживать за великой княгиней, если и не слишком смело, то во всяком случае весьма упорно. Несколько месяцев спустя дела пошли еще хуже. Муж воспитательницы, изменив фрейлине, запылал страстью к той, за которой его жена обязана была следить. Великий князь, со своей стороны, ухаживал за всеми фрейлинами и, таким образом, сближения, которое должна была произвести Чоглокова, не произошло, и исполнение ее задачи встретило еще большие затруднения.

Мысль обходиться с замужней женщиной и с русской великой княгиней, как с маленькой девочкой, была сама по себе несчастна, что и доказали последующие события. Екатерине было строго запрещено переписываться с кем бы то ни было, даже с отцом и матерью. Она должна была ограничиваться подписыванием писем, составляемых для нее в иностранной коллегии, т.е. в секретариате Бестужева. Это было равносильно приглашению Екатерины вести тайную переписку, столь часто практикуемую в то время. Она не преминула последовать этому приглашению. В это же самое время в Петербург приехал кавалер Мальтийского ордена итальянец Сакромозо.

В России давно уже не появлялось мальтийских кавалеров. Его очень чествовали; он был приглашен на все празднества и приемы, как официальные, так и интимные. Однажды, целуя руку великой княгини, он сунул ей записку: «От вашей матери», пробормотал он чуть слышно. Вместе с тем он сообщил ей, что музыкант великокняжеского оркестра, его соотечественник Ололио, возьмется передать ему ответ. Екатерина быстро спрятала записку в перчатку. Ей, вероятно, не впервые приходилось это делать. Сакромозо, впрочем, не обманул ее: письмо было, действительно, от ее матери. Написав ответ, она впервые стала прилежней следить за концертами своего мужа. Музыка она не любила. Указанное ей лицо, увидев, что она приближается, вполне естественно вытащило платок, оставив карман своего кафтана широко раскрытым. Екатерина бросила свою записку в этот импровизированный почтовый ящик и с этой минуты переписка установилась и продолжалась во все время пребывания Сакромозо в Петербурге.

Вот каким образом случается, что сводятся к нулю и мудрость государственных мужей и мощь императрицы, когда они не считаются с другой мощью, именуемой молодостью, и с другой мудростью, предохраняющей от злоупотребления властью!

С. 52

Она отказалась нарушить тайну интимных пиршеств, во время которых императрица позволяла себе забывать свое величие, но зато она присутствовала вскоре после отъезда принцессы Цербстской, 25 ноября, при парадном обеде, которым отмечался каждый год день вступления на престол дочери Петра Великого. В большой зале Зимнего дворца стол был накрыт для 350 унтер-офицеров и солдат полка, который в тот день сопровождал Елизавету на завоевание своей короны. Императрица, в мундире капитана, в ботфортах, с саблей на боку и белым пером в шапке, сидела среди своих «камрадов». Придворные чины, высшие офицеры и иностранные министры сидели в соседней комнате. Екатерина, с ранних пор имея перед глазами это зрелище, задумывалась над ним и потому она, вероятно, и сумела в нужный момент с такой грациозной развязностью надеть боевую одежду и, в свою очередь, возбудить энтузиазм и привлечь содействие этих же самых гренадер, также подготовленных уроками прошлого к смелым предприятиям.

Чаще всего великий князь был занят своими удовольствиями и любовными увлечениями, но иногда он вдруг возвращался к Екатерине. Эти минуты не были лучшими в ее жизни. В продолжение целой зимы он только и говорил с Екатериной, что о своем плане построить рядом со своей дачей дом, во всем похожий на капуцинский монастырь. Чтобы быть ему приятной, ей пришлось сто раз перерисовывать план этого здания. В этом не заключалось, однако, ее самое жестокое испытание. Присутствие великого князя влекло за собой и постоянное соседство своры собак, помещавшихся в супружеском апартаменте и распространявших невыносимый запах. Императрица запретила держать собак, и потому Петр вздумал спрятать их в общий альков, вследствие чего ночи Екатерины стали настоящим мучением. Днем лай и пронзительный визг нередко избиваемых собак не давал ей ни минуты покоя. Когда свора молчала, то Петр брал свою скрипку и ходил с ней из комнаты в комнату, стараясь производить возможно более шуму на своем инструменте. Он любил вообще шум. Кроме того, он все более и более обнаруживал пристрастие к спиртным напиткам. С 1753 г. он напивался «почти ежедневно». В этом отношении Елизавета не могла по понятным причинам накладывать на него узду. Изредка он возвращался к своим марионеткам. Однажды Екатерина нашла его стоящим в парадном мундире, в ботфортах и с обнаженной саблей посреди комнаты перед крысой, подвешенной под потолок. Оказывается, что несчастная крыса съела часового из крахмала, стоявшего перед картонной крепостью, и военный совет, собравшийся по всем правилам, приговорил ее к смертной казни.

Без сомнения, Екатерина, со своей могучей молодостью и страстностью своего темперамента, не выдержала бы испытаний подобной жизни, если бы она не приобрела некоторых привычек, дававших ей возможность иногда покидать печальный дом и нравственно отдыхать. Летом в Ораниенбауме она вставала с зарей и, быстро одевшись в мужской костюм, уезжала на охоту в сопровождении старого слуги.

С. 56–62.

Как случилось это событие? Вопрос этот кажется странным, однако ни один пункт во всей ее биографии не вызывал столько прений и споров. Не следует забывать, что прошло уже десять лет со свадьбы великой княгини, десять лет, в течение которых ее союз с Петром оставался бесплодным, а отношения супругов становились все холоднее.

Между тем, несмотря на уединенную жизнь и строгий надзор за ней, Екатерина подвергалась многочисленным искушениям и преследованиям, в которых ее добродетель находилась в постоянной опасности, и сама она, согласно выражению русского историка, была как бы погружена в атмосферу любви.

Она сама сознается в своих «Записках», что, не будучи, собственно говоря, красивой, она все же умела нравиться; в этом заключалась ее «сила». Она звала любовь и распространяла ее вокруг себя. Мы видели, как муж ее наставницы сам пал жертвой этой эпидемии. Она избегла, надо сказать, первых опасностей. Она не похитила у Марии Семеновны ласки ее мужа, но в этом мало заслуги с ее стороны, так как она находила его некрасивым, глупым и неуклюжим как телом, так и умом. Она смертельно скучала летом 1749 г., часть которого ей пришлось провести в имении Чоглоковых, Раеве. Она почти каждый день виделась с молодым графом Кириллом Разумовским, соседом по имению, приехавшим обедать и ужинать и возвращавшимся затем в Покровское, делая таким образом каждый раз верст шестьдесят. Двадцать лет спустя Екатерине вздумалось спросить его, что побуждало его приезжать каждый день и делить скуку великокняжеского двора, когда он имел возможность собирать в собственном своем доме лучшее московское общество. «Любовь», ответил он, не колеблясь ни секунды. — «Любовь? Но кого же вы могли любить в Раеве?» — «Вас». — Она расхохоталась. Ей это и в голову не приходило.

Дело не всегда обстояло так. Чоглоков был некрасив, Разумовский слишком скромн. Явились другие, не обладавшие ни недостатками одного, ни достоинствами другого. Во-первых, при дворе в 1751 г. появился снова Захар Чернышев, удаленный в 1745 г. Он находит, что Екатерина похорошела, и не стесняясь, высказывает ей это. Она с удовольствием слушает его. Во время бала, когда по моде того времени гости обмениваются «девизами» — узенькими бумажками, на которых были написаны стихи, более или менее удачные, смотря по находчивости кондитера, он посылает ей любовную

записку, полную страстных признаний. Эта игра ей нравится, и она с удовольствием ее продолжает. Он хочет проникнуть в ее комнату, намереваясь переодеться для этого лакеем, но она указывает ему на опасность этого предприятия, и они возвращаются к переписке посредством «девизов».

Часть этой переписки нам известна. Она была издана и без обозначения автора в виде образчика слога знатной дамы восемнадцатого века, состоящей в переписке со своим любовником. Содержание ее не оставляет сомнений в том, что Захар Чернышев имел право на это звание.

После Чернышевых наступает черед Салтыковых. Среди камергеров великокняжеского двора было два брата Салтыковых. Они принадлежали к одной из самых старинных и знатных русских фамилий. Отец их был генерал-адъютантом; мать их, рожденная княжна Голицына, в 1740 г. оказала Елизавете услуги, о которых принцесса Цербстская имела особые сведения. «Салтыкова пленяла целые семьи. Она делала больше. Она была красива и вела себя так странно, что лучше было бы, если бы ее поведение не стало известно потомству. Она ходила с одной из своих служанок в казармы, отдавалась солдатам, напивалась с ними, играла, проигрывала, давала им выигрывать... Все триста гренадеров, сопровождавших ее величество, были ее любовниками». Старший брат, Петр, был обижен природой и мог, по мнению Екатерины, соперничать умом и красотой с Чоглоковым. Младший, Сергей, был «красив, как день». В 1752 г. ему было 26 лет и он был женат уже два года на фрейлине императрицы Матрене Павловне Балк. Это был брак по любви. В то время Екатерина заметила, что он за ней ухаживает. Она почти каждый день посещала Чоглокову, которая, будучи беременной и нездоровой, не выходила из дому. Неизменно встречая там Сергея Салтыкова, она догадалась, что он приходил не для хозяйки дома. По-видимому, она стала уже опытнее. Вскоре, впрочем, Салтыков окончательно открыл ей глаза на этот счет. Надзор Чоглоковой ослабел к тому времени. Он придумал способ обезвредить и ее мужа, который, будучи сам влюблен в великую княгиню, мог быть стеснительнее. Он открыл в нем необыкновенный талант к стихотворству. Добрый Чоглоков был этим очень польщен и, сидя в углу, писал стихи на темы, которые ему давали без конца. В это время остальные разговаривали не стесняясь. Красавец Сергей был не только самым красивым человеком при дворе, но и человек находчивый: «настоящий демон интриги», говорила Екатерина. Она молча выслушала его первое признание, не намереваясь, вероятно, прекратить его дальнейшие излияния. Она, наконец, спросила, чего он от нее хочет. Он описал самыми яркими красками счастье, которого он ожидает от нее. «А ваша жена?» спросила она. Это почти равнялось признанию и сводило расстояние, разделявшее их, к очень хрупкому препятствию. Он этим не смутился и решительно выбросил за борт бедную Матрену Павловну, объявив, что то было лишь юношеское увлечение, ошибка, и рассказав, как скоро «это золото превратилось в простой свинец». Екатерина уверяет, однако, что она сделала все, что могла, чтобы отвлечь его, намекнув даже, что он опоздал.

«Почему вы знаете? Может быть, мое сердце уже занято?» Средство это было неудачно выбрано. На самом же деле, как Екатерина сама сознается, главное препятствие к избавлению от красивого соблазнителя заключалось в том, что он ей сильно нравился. Однажды Чоглоков устроил охоту, во время которой представился случай, давно поджидаемый Сергеем. Они остались вдвоем в продолжение полутора часа; чтобы положить конец этому свиданию, Екатерине пришлось прибегнуть к героическим средствам. Эта сцена прелестно описана в «Записках»! Перед тем, как удалиться, Салтыков хотел заставить ее признаться, что она к нему равнодушна. «Да, да, но только уходите!» - «Хорошо, слово дано!» воскликнул он и пришпорил лошадь. Она хотела вернуть роковое слово и крикнула ему вслед: «нет, нет!» Он отвечал: «да, да!» На этом они расстались, чтобы вскоре снова сойтись.

Спустя некоторое время Сергею Салтыкову пришлось покинуть двор. Распространились слухи о его отношениях к великой княгине, вызвавшие вмешательство Елизаветы. Императрица сильно выбранила Чоглоковых, и Сергею велено было поехать на один месяц в отпуск, к родным в деревню. Он заболел и вернулся лишь в феврале 1753 г. и тотчас снова вступил в интимный кружок, образовавшийся вокруг Екатерины, где первые места были отведена молодым людям, и в котором часто появлялся другой родовитый и красивый кавалер, Лев Нарышкин. Он уже играл ту роль шута, которую продолжал играть и в лучшие дни будущего царствования, но в то время не ограничивал ею своего честолюбия. Екатерина была в то время в самых лучших отношениях с обоими Чоглоковыми. Она сумела привязать к себе жену, доказав ей, что отвергает ухаживания мужа, и сделать из последнего раба себе, ловко поддерживая его надежды. Она могла надеяться на их доверие и скромность. Из осторожности ли, или вследствие природного непостоянства, Сергей был теперь более сдержан, так что роли переменились, и Екатерине приходилось сетовать на его холодность. Вскоре однако новое и на этот раз совершенно неожиданное вмешательство верховной власти дало другое направление второй главе этого устаревшего уже романа. Трудно рассказать это происшествие; еще труднее было бы считать его действительно совершившимся, не будь свидетельства самой Екатерины. В каких-нибудь несколько дней Салтыков был призван к Бестужеву, а Екатерина имела разговор с Чоглоковой, и оба услышали насчет занимавшего их предмета удивившее их откровение. Говоря, по-видимому, от имени императрицы, воспитательница, оберегавшая добродетель великой княгини и честь ее супруга, объяснила молодой женщине, что бывают случаи, когда государственные соображения должны одержать верх над всякими другими, даже над законным желанием супруги остаться верной мужу, если последний не в состоянии обеспечить спокойствие империи в вопросе о престолонаследии.

В заключение Екатерине было категорически предложено выбрать между Сергеем Салтыковым и Львом Нарышкиным, причем Чоглокова была убеждена, что Екатерина предпочтет последнего. Она запротестовала. «В таком

случае, другой», объявила воспитательница. Екатерина промолчала с большой сдержанностью. Бестужев говорил в том же смысле и с Сергеем Салтыковым.

Между тем Екатерина забеременела три раза подряд и после двух выкидышей родила, наконец, сына, 20 сентября 1754 г. Кто был отцом этого ребенка? Теперь уже понятно, почему вопрос этот вполне уместен. Вот как он разрешен в одном документе, существенные части которого, относящиеся до этого пункта истории, еще не были изданы. Это записка Шампо, уже цитированная нами:

«Великая княгиня, увлекаемая тайным расположением, слушала его (Салтыкова) и убеждала его победить свою страсть. Однажды разговор был очень оживлен. Салтыков говорил ей со всей страстью, которая его одушевляла; она отвечала ему горячо, умилилась, была тронута и, расставаясь с ним, сказала стих Максима, обращенный к Ксифару:

«Et méritez les pleurs que vous m'allez coûter».

«...Двор переселился в Петергоф; великокняжеская чета последовала за императрицей. Несколько раз устраивались охоты. Великая княгиня, ссылаясь на нездоровье, большею частью в них не участвовала. Салтыков под благовидными предложениями заручился позволением великого князя не сопровождать его. Он проводил все свое время с великой княгиней и сумел воспользоваться благоприятным для него расположением, которое ему дали почувствовать. Салтыков, первое время находивший для себя большое счастье в том, что обладает предметом своих мыслей, вскоре понял, что вернее было разделить его с великим князем, недуг которого был, как он знал, излечим. Однако опасно было действовать в подобном деле без согласия императрицы. Благодаря случаю, события повернулись самым лучшим образом. Однажды весь двор присутствовал на большом балу; императрица, проходя мимо беременной Нарышкиной, свояченицы Салтыкова, разговаривавшей с Салтыковым, сказала ей, что ей следовало бы передать немного своей добродетели великой княгине. Нарышкина ответила ей, что это, может быть, и не так трудно сделать, и что если государыня разрешит ей и Салтыкову позаботиться об этом, она осмелится утверждать, что это им удастся. Императрица попросила разъяснений. Нарышкина объяснила ей недостаток великого князя и сказала, что его можно устранить. Она добавила, что Салтыков пользуется его доверием и что ему удастся на это его склонить. Императрица не только согласилась на это, но дала понять, что этим он оказал бы большую услугу. Салтыков тотчас же стал придумывать способ убедить великого князя сделать все, что было нужно, чтобы иметь наследников. Он разъяснил ему политические причины, которые должны бы были его к тому побудить. Он также описал ему и совсем новое ощущение наслаждения и

добился того, что тот стал колебаться. В тот же день Салтыков устроил ужин, пригласив на него всех лиц, которых великий князь охотно видал, и в веселую минуту все обступили великого князя и просили его согласиться на их просьбы. Тут же вошел Бургав с хирургом, — и в одну минуту операция была сделана и отлично удалась. Салтыков получил по этому случаю от императрицы великолепный брильянт. Это событие, которое, как думал Салтыков, «обеспечивало и его счастье и его фавор», навлекло на него бурю, чуть не погубившую его... Стали много говорить о его связи с великой княгиней. Этим воспользовались, чтобы повредить ему в глазах императрицы... Ей внушили, что операция была лишь уловкой, имевшей целью придать другую окраску одной случайности, которую хотели приписать великому князю. Эти злобные толки произвели большое впечатление на императрицу. Она как будто вспомнила, что Салтыков не заметил влечения, которое она к нему питала. Его враги сделали больше; они обратились к великому князю и возбудили и в нем такие же подозрения».

Затем в своем сообщении Шампо рассказывает о разных очень сложных интригах. Императрица и великий князь несколько раз меняли мнение и в конце концов оправдали счастливого любовника. Одно время в дело втягивается Екатерина.

«В первые минуты своего неудовольствия на Салтыкова, вместо того, чтобы поберечь великую княгиню, императрица сказала в присутствии нескольких лиц, что она знала, что происходило до тех пор, и что, когда великий князь выздоровеет и будет в состоянии иметь общение с женой, она желает получить доказательства того положения, в каком великая княгиня должна была остаться до этого времени».

Предупрежденная бдительными друзьями, Екатерина протестовала с негодованием и убедила Елизавету. Впоследствии великий князь довершил оправдание своей супруги, представив неопровержимые доказательства ее правоты.

«Между тем наступило время, когда великий князь мог вступить в общение с великой княгиней. Уязвленный словами императрицы, он решил удовлетворить ее любознательность насчет подробностей, которые она желала знать, и на утро той ночи, когда брак был фактически осуществлен, он послал императрице в запечатанной собственноручно шкатулке то доказательство добродетели великой княгини, которое она желала иметь... Связь великой княгини с Салтыковым не нарушилась этим событием, и она продолжалась еще восемь лет, отличаясь прежней пылкостью...»

Записка Шампо была послана в ноябре 1758 г. из Версаля в Петербург, в качестве дополнительной инструкции маркизу Лопиталю, оценившему ее следующим образом:

«Я внимательно и с удовольствием прочел первый том трагикомической истории или романа замужества и приключений великой княгини. Содержание

его заключает некоторую долю истины, приукрашенной слогом; но при ближайшем рассмотрении герой и героиня уменьшают интерес, который их имена придают этим приключениям. Салтыков — человек пустой и русский *petit-maître*, т.е. человек невежественный и недостойный. Великая княгиня его терпеть не может, и все, что говорят об ее переписке с Салтыковым, — лишь хвастовство и ложь».

Правда, в то время Екатерина уже познакомилась с Понятовским и, как утверждает опять-таки Лопиталь, «познала разницу между ними».

Повествование французского дипломата противоречит однако в некоторых подробностях тому, что сама Екатерина сообщает в своих «Записках», а все, что нам известно об этом щекотливом вопросе из других источников, способствует затемнению его. Физически и нравственно, в особенности нравственно, Павел походил на своего законного отца. Однако почти никто из современников не допускал гипотезы, что именно Петр был его отцом. В то время ходили даже другие предположения. «Этот ребенок, — писал однажды Лопиталь, — сын самой императрицы (Елизаветы), которого она подменила на сына великой княгини». В следующей депеше, однако, маркиз, объявляя себя лучше осведомленным, подвергал сомнению эту первую версию; но сама Елизавета много способствовала ее возникновению, и ее поведение во время родов великой княгини немало повлияло на распространение этих слухов. Едва только ребенок увидел свет, как императрица велела его наскоро выкупать и наречь имя Павел, приказала унести его и сама ушла вслед за ним. Екатерина увидела своего сына лишь через шесть недель. Ее оставили вдвоем с горничной, не озаботившись даже о самом необходимом уходе за ней. Казалось, что она вдруг стала совершенно безразличным для всех существом и что ее не считали уже ни во что. Родильная постель находилась между дверью и двумя огромными окнами, из которых дуло нестерпимо. Екатерина сильно потела и хотела перейти на свою постель. Владиславова не посмела исполнить ее желания. Екатерина попросила пить. Ответ был тот же. Наконец через три часа появилась графиня Шувалова и оказала ей некоторую помощь. Ни в тот день, ни на следующий она никого не видала. Великий князь пировал со своими друзьями в соседней комнате. После крестин ребенка, его матери принесли на золотом подносе указ императрицы, подарившей ей 100000 рублей и несколько драгоценностей. Ей платили за ее труды. Драгоценности были не особенно богаты. Екатерина уверяла, что ей стыдно было бы подарить их своей камерфрау. Деньгам она обрадовалась, так как у нее было много долгов. Но радость ее была непродолжительна. Несколько дней спустя, кабинет-секретарь барон Черкасов умолял ее дать ему эти 100000. Императрица приказала отпустить еще такую же сумму, а в кассе не было «ни копейки». Екатерина узнала, что это была проделка ее мужа. Узнав, что она получила 100000 р., Петр пришел в ярость. Ему ничего не дали, а между тем он претендовал по меньшей мере на равные права на щедрость императрицы. Чтобы успокоить его, Елизавета, которой ничего не стоило подписать свое имя, приказала выдать и ему такую же сумму, не заботясь о

затруднительном положении казначея. Спустя шесть недель, «очищение» великой княгини было отпраздновано с большой пышностью, и в этот день ей была оказана милость: ей показали ее ребенка. Она нашла его красивым. Во время обряда ей его оставили, а затем опять отняли. Одновременно она узнала, что Сергея Салтыкова отправили в Швецию с известием о рождении великого князя. В те времена для вельможи, занимавшего при русском дворе положение Сергея Салтыкова, подобное поручение не являлось знаком милости. Большею частью эта была высшая полицейская мера, если не опала или наказание. С этой точки зрения отъезд молодого камергера был также знаменателен.

Не будем останавливаться дольше на этом вопросе. Эта историческая тяжба, касающаяся вопроса о спорных родительских правах, на наш взгляд, является лишь второстепенной. Что касается Екатерины, единственным действительно важным пунктом для истории умственного и нравственного ее развития, т.е. для этого нашего труда, является бесспорное присутствие Сергея Салтыкова у колыбели ее первого ребенка с Львом Нарышкиным, Захаром Чернышевым и, может быть, и другими на заднем плане. Перед нами встает ее, так сказать, неполное материнство, подвергавшееся возмутительным подозрениям со стороны общества, жестоко урезанное злоупотреблением власти, похожим на похищение. Что-то подозрительное скрывалось под мантией этикета, попирающего самые естественные права и обязанности; наконец нас поражает самое полное и более чем когда-либо болезненное пренебрежение и одиночество, в которое впадает молодая мать и молодая супруга между пустой колыбелью и давно опустевшим супружеским ложем.

С. 101-132.

II

Елизавета скончалась 5 января 1762 г., оставив в силе завещание, по которому Петр должен был наследовать ей. Да и имела ли она намерение изменить его в том или другом смысле? Это вопрос темный.

«Всеобщее желание и убеждение, — писал барон Бретейль в октябре 1760 года: — что она возведет на престол маленького великого князя, которого, по-видимому, страстно любит».

Месяц спустя Бретейль рассказывал следующее:

«Однажды, когда великий князь уехал на день в деревню на охоту, императрица неожиданно приказала, чтоб в ее театре дали русскую пьесу и, против обыкновения, не пожелала пригласить ни иностранных послов, ни придворных, которые всегда присутствуют на таких спектаклях; вследствие этого императрица явилась в театр только с небольшим числом лиц ближайшей свиты. Молодой великий князь был вместе с нею, а великая княгиня, единственная из всех получившая приглашение, тоже пришла в свою очередь. Как только началось представление, императрица стала жаловаться на то, что в зале мало зрителей и велела раскрыть двери для гвардии. Театр сейчас же

наполнился солдатами. Тогда, по свидетельству всех присутствовавших, императрица взяла на колени маленького великого князя, чрезвычайно ласкала его и, обращаясь к некоторым из тех старых гренадер, которым она обязана своим величием, как бы представила им ребенка, говорила им, каким он обещает быть добрым и милостивым, и с удовольствием выслушивала в ответ их солдатские комплименты. Эта сцена кокетничания продолжалась почти весь спектакль, и великая княгиня имела все время очень довольный вид».

Но, если верить свидетельству, о котором мы говорили выше, Панин, делая вид, что становится на сторону Шуваловых, в последнюю минуту обманул их: он ввел к императрице монаха, который убедил ее примириться с Петром. Но вернее всего, что Елизавета не могла или не сумела решиться на этот крайний шаг. К концу царствования она, несомненно, ненавидела племянника, но любовь к собственному покою все-таки в ней превозмогла. Поэтому смерть ее, усчитанная всеми еще за несколько лет вперед, легко могла вызвать революцию против этого последнего решения ее колеблющейся и расшатанной развратом воли. Барон Бретейль писал по этому поводу:

«Когда я думаю о ненависти народа к великому князю и заблуждениях этого принца, то мне кажется, что разыграется самая настоящая революция (при смерти императрицы); но когда я вижу малодушие и низость людей, от которых зависит возможность переворота, то убеждаюсь, что страх и рабская покорность и на этот раз так же спокойно возьмут в них верх, как и при захвате власти самой императрицей».

Так и случилось. Если верить Вильямсу, Екатерина еще за пять лет решила, что будет делать после смерти Елизаветы:

«Я иду прямо в комнату моего сына, — будто бы сказала она. — Если встречу Алексея Разумовского, то оставлю его подле маленького Павла; если же нет, то возьму ребенка в свою комнату; в ту же минуту я посылаю доверенного человека дать знать пяти офицерам гвардии, из которых каждый приведет ко мне пятьдесят солдат... В то же время я посылаю за Бестужевым, Апраксиным и Ливеном, а сама иду в комнату умирающей, где заставлю присягнуть командующего гвардией и оставлю его при себе. Если я замечу малейшее движение, то арестую Шуваловых». Она прибавляла, что у нее было уже свидание с гетманом Кириллом Разумовским, и что тот отвечал за свой полк и ручался привести к ней сенатора Бутурлина, Трубецкого и самого вице-канцлера Воронцова. Она осмелилась будто бы даже написать Вильямсу: «Иоанн Васильевич (царь) хотел уехать в Англию; но я не намерена просить убежища у английского короля, потому что решила или царствовать, или погибнуть».

Но верить ли в данном случае Вильямсу? По словам аббата Шапп д'Отроша, новая императрица явилась в роковую минуту совершенно в другом свете. Французский историк рисует ее нам бросающейся к ногам своего супруга и выражающей готовность служить ему, «как последняя раба его царства». Екатерина была очень оскорблена, когда узнала впоследствии про этот рассказ, и с необыкновенным жаром старалась опровергнуть его

правдивость. Читатель извинит нас, если мы сами не выскажемся окончательно на этот счет.

Но как бы то ни было, Петр совершенно мирно вступил в управление своим государством. Царствование его не замедлило оправдать всеобщие ожидания. За границей России Фридрих вздохнул свободно и по праву мог считать себя спасенным смертью Елизаветы. В самую же ночь своего восшествия на престол Петр разослал гонцов в различные корпуса русской армии с приказом прекратить неприятельские действия. Войска, занимавшие Восточную Пруссию, должны были прекратить свое наступательное движение; те, что стояли вместе с австрийской армией, немедленно отделиться от нее. Кроме того, и тем и другим было отдано повеление сейчас же заключить перемирие, если только оно будет предложено прусскими генералами. В то же время император послал к Фридриху камергера Гудовича с собственноручным письмом, свидетельствовавшим о его дружелюбных намерениях. Затем ряд быстро чередовавшихся распоряжений и публичных демонстраций возвестил всем о коренной перемене во внешней политике и в симпатиях императора. Даже актеры французского придворного театра были высланы вон, не получив при этом никакого обеспечения! Наконец декларация, переданная в феврале представителям Франции, Испании и Австрии, показала им, чего они могли ожидать от нового правительства: Петр без всяких церемоний отворачивался от союзников; он объявил им свое намерение заключить с Пруссией мир и советовал им поступить так же. Сцена, о которой барон Бретейль картинно рассказывает в своей депеше, подчеркнула два дня спустя это последнее предупреждение императора. Она разыгралась 25 февраля 1762 г. на ужине у канцлера Воронцова. За столом сидели с десяти часов вечера до двух утра. Петр, говорит Бретейль, «все время буйствовал, пил и молот вздор». К концу ужина он встал покачиваясь и, повернувшись к генералу Вернеру и графу Гордту, провозгласил тост за прусского короля. «Теперь уже не то, что было за последние года, — прибавил он: — и мы вскоре еще иное увидим!» В то же время он перекидывался «улыбками и намеками» с Кейтом, английским посланником, которого называл «своим дорогим другом». В два часа утра гости перешли в залу. Здесь, вместо ломберного стола для обычной игры в фараон, стоял громадный стол, заваленный трубками и табаком. Чтобы угодить императору, надо было закурить и не выпускать трубку изо рта в течение нескольких часов, попивая в то же время английское пиво и пунш. Однако, после довольно продолжительного совещания с Кейтом, его величество предложил сыграть в «samri». «Это особая игра, — объясняет Бретейль, — вроде «chat qui dort» или «as qui court». Во время игры император подозвал к себе барона Поссе, шведского посланника, и пытался убедить его, что декларация, только что опубликованная Швецией, тождественна с русской. «Она имеет целью только обратить внимание союзников на затруднения, которые они встретят, если будут продолжать войну», — возразил Поссе.

— Надо заключить мир, — ответил на это император. — Что касается меня, то я хочу этого.

Игра, между тем, продолжалась. Барон Бретейль проиграл несколько червонцев принцу Георгу Голштинскому, дяде царя, с которым он в течение своей прежней боевой карьеры встречался когда-то на полях битвы в Германии.

— Ваш старый противник победил вас! — воскликнул сейчас же Петр со смехом. И он продолжал хохотать и повторять без конца свое словцо, как это обыкновенно делают пьяные. Барон Бретейль, несколько озадаченный, выразил уверенность, что ни ему лично, ни Франции никогда больше не придется уже сражаться с принцем. Царь ничего не ответил, но через несколько минут, видя, что граф Альмодовар, представитель Испании, тоже проигрывает, наклонился к французскому посланнику и сказал ему на ухо: «Испания проиграет». И опять засмеялся. Барон Бретейль едва владел собой. Но, призвав на помощь все свое хладнокровие, он ответил с достоинством: «Не думаю, государь». И стал доказывать императору, что силы Испании и Франции, соединенные вместе, представляют собою внушительную величину. Император произносил, вместо ответа, только насмешливые: «а, а!» Но когда французский дипломат сказал в заключение: «Если ваше величество останетесь верны принципам союза, как вы обещали и должны это сделать, согласно данному вами обязательству, то мы, Испания и Франция, можем быть спокойны», — Петр уже не мог сдержать себя. Он пришел в ярость и грубым голосом прокричал:

— Я вам объявил уже два дня тому назад: я желаю мира.

— И мы также, государь. Но мы хотим, как и ваше величество, чтобы этот мир был почетным и согласным с интересами наших союзников.

— Как знаете. Что до меня, то я желаю мира во что бы то ни стало. А потом поступайте, как хотите. *Finis coronat opus*. Я солдат и не люблю шутить.

С этими словами он повернулся к барону спиною.

— Государь, — сказал тогда значительным тоном барон Бретейль, — я отдам отчет своему королю в том, что вашему величеству было угодно объявить мне.

Это был полный разрыв. Канцлер Воронцов, которому сейчас же донесли о происшедшем, приписал слова Петра состоянию опьянения, в котором государь находился в ту ночь, а также его странному нраву. Воронцов принес барону Бретейлю свои извинения. Но ни в Петербурге, ни в Версале никто не сомневался в истинном смысле слов, произнесенных императором.

«Вы можете представить себе мое негодование, — писал Бретейлю герцог Шуазель: — когда я узнал о том, что произошло 25 февраля. Признаюсь вам, я не ожидал, что все это будет сказано в таком тоне; Франция не привыкла еще получать приказания из России. Не думаю, чтобы Воронцов мог дать нам какие-нибудь объяснения по этому поводу. Их бесполезно и спрашивать. Мы знаем теперь и так все, что могли бы узнать, и следующее объяснение, которое мы получим, будет сообщение о союзе, заключенном между Россией и нашими врагами».

И действительно, через два месяца это соглашение было уже совершившимся фактом. 24 апреля Петр подписал мирный договор с Пруссией,

включив в него параграф, возвещавший о скором заключении оборонительного и наступательного союза между обеими державами. Он открыто оповестил всех о своем намерении стать вместе с частью русской армии под начальство Фридриха. Это была его мечта, которую он лелеял давно. Еще в мае 1759 г. маркиз Лопиталь доносил своему правительству:

«Великий князь, разговаривая наедине с графом Шверинем и князем Чарторыйским, стал восхвалять прусского короля и сказал графу Шверину буквально, что надеется иметь славу и честь принять когда-нибудь участие в войне под начальством короля Пруссии».

В то же время Петр, по-видимому, искал ссоры с Данией из-за своих немецких владений. Император всероссийский не считал для себя недостойным мстить за действительные или воображаемые обиды герцога Голштинского. Один русский историк написал даже целую книгу, чтобы объяснить, в чем состояло то, что он называл «политической системой» наследника Елизаветы. По его мнению, все будущее России было поставлено на карту, если бы эта система могла быть осуществлена. Но, полагаем мы, этот историк оказывал Петру III и его политике слишком много чести. Думал ли в самом деле Петр о том, чтобы «пожертвовать устьями Западной Двины для того, чтобы утвердиться на устьях Эльбы, и оттолкнуть несколько миллионов своих соотечественников, чтобы ничто не мешало ему завоевать, с помощью Пруссии, несколько сот тысяч полугерманцев и полудатчан, находящихся за Сотни верст от России?» Мы склонны думать, что Петр просто хотел выразить свое восхищение перед Фридрихом II и удивить Германию своим мундиром голштинского генерала. Он продолжал играть в солдатику; но только, имея теперь свободу выбора, уже не довольствовался больше солдатами из крахмала.

Во внутренней политике Петр выказал себя тоже очень смелым реформатором. Указы следовали за указами: о секуляризации владений духовенства, об освобождении дворянства от обязательной службы, об упразднении «тайной канцелярии», т.е. отделения политической полиции. Что значило это поспешное законодательство? Был Петр в самом деле либерален? Если верить князю Петру Долгорукову, один из современников Петра III, князь Михаил Щербатов, объяснял по-своему появление указа о дворянстве. Раз вечером, когда Петру хотелось изменить своей любовнице, он позвал к себе статс-секретаря Дмитрия Волкова и обратился к нему с такими словами: «Я сказал Воронцовой, что поработаю с тобой часть ночи над законом чрезвычайной важности. Мне нужен поэтому на завтра указ, о котором говорили бы при дворе и в городе». Волков поклонился, и на следующий день Петр был очень доволен, но и дворянство тоже. Но возможно, что, поддаваясь отчасти влиянию окружающих и осуществляя не задумываясь идеи, внушаемые ему со стороны, Петр подчинялся в то же время и тому разрушительному инстинкту, который так часто встречается у детей и заставляет их ломать все, что подвернется им под руку, и при этом беспокойном уме Петра эта страсть разрушения принимала у него особенно

угрожающий характер. Ему нравилось одним росчерком пера переворачивать весь строй государства и видеть вокруг себя испуганные этими переменами лица. В этом выражались теперь его шалости. А может быть, он хотел подражать Фридриху. Но во всяком случае он искренно забавлялся и надеялся стать, в свою очередь, великим государем.

Рисковал ли он лишиться любви подданных и поколебать самый престол этой смелой ломкой внешней и внутренней политики? Не думаем. Чего только его подданные не видели и прежде! Духовенству был, разумеется, нанесен страшный удар, но оно промолчало. Дворянство имело повод радоваться, но оно осталось одинаково безмолвным. Только сенат предложил воздвигнуть императору золотую статую, от которой тот отказался. Впоследствии все уверяли, что видели симптомы полной дезорганизации в правительственной машине России еще до события, положившего конец новому царствованию. Но такие наблюдения всегда делаются задним числом. А пока Петр царствовал спокойно, несмотря на свои фантастические выходки: ведь Бирон, до него, позволял себе еще более рискованные. И, очевидно, государственный механизм России походил на те массивные сани, которые везли до Москвы Екатерину и ее участь: ему были не страшны никакие ухабы, никакие потрясения.

Но Петр сделал все-таки две роковые ошибки: он создал вокруг себя недовольных, а других довел до полного отчаяния. Недовольной была армия. Не потому, чтобы ей претило, как уверяли потом, переменить фронт и сражаться с пруссаками против Австрии после того, как она билась с австрийцами против Пруссии. Ненависть к остроконечной каске, приписанная солдатам, находившимся в 1762 г. под командой какого-нибудь Чернышева или Румянцева, кажется нам плодом чисто современного воображения. Во-первых, вопроса об остроконечной каске не существовало вовсе: воины Марии-Терезии были совершенно такими же немцами, как и солдаты Фридриха. Но Петр хотел ввести в армию прусскую дисциплину, и этого она ему не могла простить. У нее была собственная дисциплина: за малейший проступок гренадеры, которые были при Елизавете в таком почете — и по заслугам, — подвергались в ее царствование трем, четырем, даже пяти тысячам палочных ударов — и находили это вполне законным. Иногда они оставались каким-то чудом живыми после этой ужасной пытки и безропотно становились опять в ряды. Но зато им показалось теперь совершенно невыносимым проделывать несколько раз кряду какое-нибудь ученье из-за недостатка в общей картине маневра. Затем Петр осмелился коснуться их мундиров. Это была вторая обида. Наконец он стал поговаривать о том, чтобы упразднить гвардию, как его дед упразднил когда-то стрельцов. Это значило поднять руку на «святая святых». За последние полвека гвардия была в сущности самым прочным элементом во всей империи. А новый царь распустил кавалергардов, тот самый полк, унтер-офицеров которого покойная императрица приглашала к себе за стол. Он заменил их голштинцами. Принц Георг Голштинский был назначен главнокомандующим всей русской армии и поставлен во главе конной гвардии,

которая до того не знала никогда другого командира, кроме самого государя. Это переполнило чашу. Нам кажется, что более или менее единодушные свидетельства современников о враждебном настроении общественного мнения, вызванном поступками нового императора, и имеют в виду именно эти его военные реформы и впечатление, которое они производили в войсках. Мы уже знаем, что значило слово «общество» в России того времени.

А недовольной, доведенной до негодования и отчаяния, была Екатерина. По отношению к ней какой-то дух безумия, по-видимому, овладел Петром. После 15 января 1762 г. барон Бретейль писал герцогу Шуазелю:

«Императрица находится в самом тяжелом положении; с нею обращаются с глубочайшим презрением. Я уже указывал вам, ваша светлость, что она призывает себе на помощь философию, но говорил также, как мало это лекарство подходит к ее нраву. С тех пор я узнал, — и не могу в этом сомневаться, — что она начинает уже с большим нетерпением выносить поведение императора по отношению к ней и высокомерие госпожи Воронцовой. Я не могу представить себе, чтобы эта государыня, смелость и решительность которой мне хорошо известны, не отважилась бы рано или поздно на какой-нибудь крайний шаг. Я знаю, что у нее есть друзья, старающиеся ее успокоить, но готовы для нее на все, если она этого от них потребует».

В апреле, переехав в новый дворец, отделка которого уже близилась к концу, Петр занял один из флигелей, а жене назначил апартаменты на противоположном конце другого. Рядом же с собою он поместил Елизавету Воронцову. С известной точки зрения Екатерина должна была остаться довольной таким распоряжением: оно давало ей больше свободы, а в свободе Екатерина нуждалась до последней степени. Она опять была беременна и на этот раз уже никак, даже по простой случайности, не могла назвать императора отцом своего ребенка. А между тем эта беременность могла служить наглядным объяснением пренебрежения, о котором говорит барон Бретейль, и как бы официальным одобрением того положения вещей, которое Екатерина едва выносила. Петр же делал его еще мучительнее ежеминутными возмутительными выходками, грубостями и мелочными, жестокими придирами. Однажды, ужиная со своей любовницей, он послал за графом Гордтом, сидевшим у императрицы. Швед, не осмеливаясь сказать Екатерине, куда его зовут, отклонил приглашение императора. Тогда Петр явился за ним лично, грубо объявил ему, что его ждет Воронцова, и заставил его следовать за собой. Другой раз, узнав, что императрица любит фрукты, он запретил подавать их на стол. Временами в нем просыпалась ревность. Так, Екатерина любила нюхать табак по обыкновению, распространенному в то время даже среди молодых и красивых женщин. Эта привычка появилась у Екатерины рано, и она не бросала ее всю свою жизнь. Но Сергей Голицын рассказывает, что она должна была, по приказанию императора, отказаться от нее временно, так как имела несчастье попросить как-то отца князя Голицына одолжить ей свою табакерку. Известна сцена, ставшая знаменитой, когда император

публично оскорбил императрицу, бросив ей в лицо грубую брань. Это случилось 21 (9) июня 1762 года на парадном обеде на четыреста персон, данном особам трех первых классов и иностранным послам по случаю ратификации мирного договора с Пруссией. Императрица занимала свое обычное место посреди стола. Император, имея по правую руку барона Гольца, сидел на одном из концов. Прежде, чем пить за здоровье Фридриха, Петр поднял бокал за императорскую фамилию. Не успела Екатерина поставить своего бокала на стол, как император послал к ней флигель-адъютанта Гудовича спросить, почему она не встала в знак уважения к его тосту. Она ответила, что так как императорская фамилия состоит только из государя, ее самой и их сына, то она сочла этот знак уважения излишним. Петр сейчас же вторично отправил к ней Гудовича, приказав ему сказать императрице, что она дура, и что она должна была знать, что оба принца Голштинские, дяди императора, тоже принадлежат к императорской фамилии. И, очевидно, боясь, что Гудович не исполнит в точности данного ему поручения, Петр на весь стол закричал: «Дура!» обращая непосредственно это приветствие той, которой оно предназначалось. Все слышали слова императора. На глазах у Екатерины блеснули слезы.

Но это были еще только оскорбления. Петр имел безумие прибавить к ним и угрозы. В тот же день фрейлина Воронцова получила орден св. Екатерины, который жаловался обыкновенно только лицам императорского дома и принцессам крови. Сама Екатерина получила его лишь после официального обручения с будущим императором. Кажется выходя из-за стола, Петр, как всегда, пьяный, отдал даже князю Бярятинскому приказ арестовать императрицу. И только увещания принца Георга Голштинского заставили императора отказаться от своего намерения. Но все были уверены, что рано или поздно Петр решится на это. Говорили, что его подговаривают Воронцовы; что он хочет постричь Екатерину в монастырь, заключить в тюрьму маленького Павла и жениться на фаворитке. Елизавета Воронцова имела теперь над ним неограниченную власть. Такая именно любовница, как она, была вполне под стать этому паяцу в императорской мантии с манерами немецкого капрала. Она была некрасива. «Уродливая, грубая и глупая», — говорит про нее Массон. Немец Шерер, который все в Петре находил прекрасным, признается все-таки, что, выбрав себе такую подругу, Петр выказал очень прискорбный вкус. И это, по мнению Шерера, единственное, в чем можно было бы упрекнуть Петра. Воронцова была зла и невоспитанна. «Она божилась, как солдат, косила, воняла и плевалась при разговоре». По видимому, она даже бивала иногда императора, но зато напивалась вместе с ним пьяной, и это служило ему удовлетворением. Рассказывают, что в минуту переворота, погубившего и Петра, и его любовницу, и их безумную затею, манифест о низвержении Екатерины и возведении на престол Воронцовой был уже готов и должен был быть опубликован в непродолжительном времени.

Таким образом Екатерина стояла перед дилеммой, разрешение которой и в том и в другом смысле подвергало ее страшной опасности, с тою только

разницей, что в первом случае она не могла ничего выиграть, а во втором могла немного потерять. Она и сделала, соответственно этому, свой выбор.

III

История заговора 1762 г., который стоил Петру III престола, а затем и жизни, еще до сих пор не написана, и историки, приступая к изучению ее, сейчас же наталкиваются на недостаток в подлинных и достаточно точных документах. Рюльер, по-видимому, совершенно ошибся, приписывая Панину и княгине Дашковой такое большое значение в подготовке этого события. По его мнению, они сделали все или почти все. Однако, по словам того же Рюльера, инициатива принадлежала все-таки княгине Дашковой, которая решила пожертвовать добродетелью, чтобы добиться помощи Панина, выражавшего, по-видимому, мало желания впутываться в рискованное предприятие. Нужно прибавить, что княгиня должна была долго колебаться прежде, чем отдаться Панину, ухаживания которого она первоначально отклоняла, так как боялась, что их связывают узы очень близкого родства. Она считала себя его дочерью. Но бывший посредником между ними пьемонтец Одар, — очень темная личность, — ставший с некоторых пор секретарем Екатерины, убедил ее стать выше этих соображений, и после этого оба любовника начали уже дружно работать. К несчастью, они не вполне сходились с Екатериной насчет той цели, которою должны были увенчаться их усилия. Под влиянием книг, прочитанных княгиней, и пребывания Панина в Стокгольме они оба прониклись революционными идеями. Они соглашались дать Екатерине власть, но только на известных условиях. Она же отказывалась от всяких компромиссов и, имея у себя под рукою также и Орловых, готова была, по-видимому, обойтись без услуг княгини Дашковой. Тогда с той и с другой стороны было решено работать самостоятельно над ниспровержением Петра с тем, что в будущем выяснится, кто будет его преемником. Это было своего рода «параллельное действие». Княгиня Дашкова и Панин искали себе партизанов среди высших офицеров армии, спускаясь иногда до солдат. Орловы же действовали по преимуществу среди нижних чинов и изредка обращались и к их начальству. Обе партии встречались в казармах, но, как незнакомые, смотрели друг на друга с недоверием. Наконец Екатерине удалось соединить обе интриги и взять в свои руки руководство заговором.

Таков рассказ Рюльера. Но, несмотря на то, что его принимают на веру даже выдающиеся умы нашего времени, он, бесспорно, вызывает большие сомнения. На них наводит, например, описание внешности княгини Дашковой, сделанное Дидеро, который познакомился с нею впоследствии в Париже:

«Княгиню никак нельзя назвать красивой: она маленького роста; лоб у нее большой и высокий, щеки толстые и одутловатые, глаза — ни большие, ни маленькие, сидящие несколько глубоко в своей орбите; черные волосы и брови, приплюснутый нос, большой рот, толстые губы, испорченные зубы, шея

круглая и прямая, как обыкновенно у русских, высокая грудь, полное отсутствие талии, быстрые движения, мало грации, никакого благородства...»

В действительности она имела, может быть, благодаря живости своего характера, некоторое влияние на холодный ум будущего первого министра Екатерины; но чтобы он ради нее забыл не только свою любовь к покою, но и обычную осторожность и принял участие в предприятии, рискованности которого не мог не сознавать, — это кажется нам очень невероятным. А чтобы Екатерина решилась вручить свои интересы, свою личную судьбу и участь сына, свои честлюбивые планы и самую жизнь в руки восемнадцатилетней заговорщицы, — это мы уже совершенно отказываемся допустить. Сама княгиня рассказывает нам, впрочем, в своих «Записках», как встретила Екатерина ее первые предложения. Это случилось незадолго до смерти Елизаветы. Раз вечером, зимою, около полуночи, к великой княгине, уже лежавшей в постели, вбежала ее подруга, задыхающаяся и дрожащая не то от волнения, не то от холода, и стала умолять Екатерину довериться ей, ввиду той опасности, которая Екатерине угрожала. Она хотела знать, в чем состоял план будущей императрицы, и просила указаний, чтобы знать, как действовать. Екатерина в ответ на это позаботилась прежде всего о том, чтобы спасти от простуды смелую искательницу приключений. Она уложила ее рядом с собою, завернула ее в одеяла и осторожно посоветовала ей вернуться скорее в собственную постель и не волноваться: плана у Екатерины не было никакого, и она во всем полагается на Провидение.

Не может быть никакого сомнения, что княгиня значительно искадила впоследствии роль, сыгранную ею в событиях 1762 г. Если верить ее «Запискам», роль эта была первенствующей. Превзойдя самого Рюльера, она выдает себя в них главной вдохновительницей и руководительницей революционного движения. Орловы и даже Панин будто бы только исполняли ее приказания. Это она направляла всю интригу и все подготовила. Но зато совершенно иначе звучат ее признания, записанные с ее слов Дидеро:

«Она низводила свои личные заслуги и заслуги других (в этом деле) почти на нет; она говорила, что все они были опутаны какими-то невидимыми нитями, которые вели их вперед, они сами не знали — куда».

Правду же нужно, по всей видимости, искать, как и всегда, в чем-нибудь среднем между этими двумя противоречивыми уверениями; даже Фридрих, который уже должен был быть хорошо осведомленным, по видимому, тоже заблуждался, когда говорил впоследствии графу Сегюру: «Все было сделано Орловыми, а княгиня Дашкова только пахала сидя на рогах у вола». Но Орловы были молодыми людьми без всякого образования, авторитета и опыта, еще менее способными на серьезное дело, чем княгиня Дашкова; дядя же ее, князь Михаил Воронцов, — он терпеть ее не мог, — признает все-таки важность услуг, оказанных ею несколько против его воли делу, которое не могло быть ему вполне симпатично.

Что касается Панина, то, по свидетельству самой Екатерины, переворот, имеющий целью заместить царствующего императора новой императрицей, не

мог очень соблазнять этого государственного человека, которым во всех его поступках прежде всего руководило холодное и расчетливое честолюбие. Он признавал, что царствование Петра III принимает нежелательный характер, но находил, что у императора есть уже законный преемник — его воспитанник Павел. Он наверное предпочел бы быть воспитателем императора, а не великого князя. Притом, зная характер Екатерины, он угадывал, что при ее царствовании он будет играть для нее, даже призванный в первые ряды, роль только статиста и подчиненного. И он не ошибался. Ввиду всех этих соображений, он, надо думать, держал себя до последней минуты в стороне.

Итак, не выходя из области данных, исторически доказанных или, по крайней мере, правдоподобных, надо признать, что заговор, подготовивший восшествие Екатерины на престол, остается до сих пор невыясненным. Но, судя по тому, что мы знаем о нем или можем о нем предполагать, он вполне оправдывает строгий приговор, произнесенный над ним Фридрихом: «Их заговор был безумен и плохо задуман».

Это мнение разделял один из находившихся в то время в Петербурге дипломатов, посвященный до известной степени в тайны приготовлений, о которых мы говорили. Мы имеем в виду барона Бретейля, и должны сказать, что в сущности высказанные им тогда взгляды и его поведение вовсе не заслуживали порицаний, которым он подвергся после восшествия Екатерины на престол. Известна двусмысленная роль, которую правительство Людовика XV предназначало этому молодому и блестящему дипломату, посылая его на берега Невы. Но справедливость требует сказать, что он даже и не пытался начать ее разыгрывать. Во-первых, он нашел уже занятым то место возле Екатерины, которое для него имели в виду. И, во-вторых, герцог Шуазель забыл запретить ему взять с собою в Петербург жену. А она была молодая, хорошенькая и умела защищать свои права. Поэтому отношение нового посланника с императрицей ограничивались простым обменом вежливостей. После же сцены 25 февраля 1762 года, — мы приводим ее выше, — даже официальное положение барона Бретейля стало трудным, если не невыносимым, и он не замедлил воспользоваться этим, чтобы попросить, чтоб его отозвали. К этой просьбе он присоединял еще свои политические соображения, более чем далекие от мысли о соглашении с Россией. «Я нахожу, что следует думать только о том, чтобы уничтожить ее», — писал он.

Как ни резко это было высказано, по барон Бретейль в сущности только повторял слова самого герцога Шуазеля, говорившего о своем «гневе» и своем «презрении» к народу, подвластному Петру III. Эти взаимно натянутые отношения между обоими государствами еще осложнились вопросом этикета. Несмотря на то, что был уже июнь 1762 года, барон Бретейль все еще не мог добиться аудиенции у новою императора, в которой ему отказывали, потому что он не захотел первый сделать визит принцу Георгу Голштинскому. В то же время и Чернышев грозил в Париже сложить с себя обязанности полномочного министра, если там не признают за его государем титула императора, так как «Петр III соизволил согласиться, чтобы его именовали так все державы мира,

хотя титул царя, без сомнения, во всех отношениях самый прекрасный из всех, которые носили когда-либо монархи». В конце концов Бретейль получил приказ обещать эту уступку, если ему дадут аудиенцию, не предъявляя к нему новых требований; в противном же случае должен был представить свои отзывные грамоты. Получив новый отказ 18 июня 1762 года, Бретейль сделал то, что ему было предписано свыше. Но, уезжая из России, он все-таки решил прозондировать почву вокруг Екатерины. Его встретили здесь с неопределенными выражениями соболезнования, очевидно, не достаточно вескими, чтобы заставить его послушаться своего правительства. И только накануне отъезда, 24 июня, к нему явился Одар, которого он считал темным авантюристом. Он и прежде сталкивался с ним и даже отчасти покровительствовал ему, так как знал, что тот находился в сношениях с лицами, близкими императрице, но никак не предполагал, чтоб Одар мог быть лично уполномоченным ее посредником. Впоследствии сама Екатерина стала, по-видимому, стыдиться услуг, оказанных ей этим человеком, и быстро спровадила его прочь. Но теперь Одар объявил Бретейлю, что он послан государыней; что, «побуждаемая самыми верными подданными своего государства и доведенная до крайности поведением мужа, она решилась пойти на все, чтобы положить этому конец». С этой целью она просила в долг 60.000 рублей. Бретейль отнесся к словам Одара с недоверием. До сих пор императрица никогда не посылала к нему пьемонтца с каким бы то ни было поручением. Он не знал, что Одар стал с некоторых пор ее секретарем. Однако он не отказал все-таки в деньгах, как уверяли потом. Он только принял необходимые предосторожности. Он попросил Одара принести ему собственноручную записку от императрицы, где были бы написаны следующие, продиктованные им, слова: «Поручаю подателю этого письма передать вам мои прощальные приветствия и попросить вас сделать для меня небольшие покупки». Это был своего рода кредитив, который он хотел получить от Екатерины, и его требование не могло показаться ей чрезмерным. Отдать такую значительную сумму в руки Одара, не имевшего никаких письменных удостоверений своего полномочия, значило бы для барона Бретейля рисковать и состоянием, и карьерой. Впрочем, пьемонтец и не настаивал, чтобы ему выдали деньги немедленно. По его словам, императрица желала только, чтобы в нужную минуту ей выдали эту сумму под простую расписку. Бретейль отдал тогда распоряжение Беранже, которого оставлял в Петербурге заведующим делами посольства: если бы Беранже принесли от императрицы письмо, составленное в условленных выражениях, то он должен был бы немедленно послать к Бретейлю курьера в Варшаву, и Бретейль решил бы тогда, как ему поступить. Он никогда не получал из Парижа инструкций, позволявших ему оказывать императрице денежные услуги и повторить роль де-ла-Шетарди в 1740 году. Выгода, которую принесли Франции подвиги этого дипломата, вряд ли могла поощрить теперь Бретейля к повторению подобных опытов. Да и депеши герцога Шуазеля предписывали ему, напротив, осторожность и сдержанность. Кроме того, посвященный в тайны личных

симпатий Людовика XV, Бретейль знал, что король с решительным неодобрением отнесся бы к такому вмешательству в русские дела. Но, несмотря на все это, не должен ли был Бретейль стать выше этих соображений? Или, по крайней мере, хоть отложить свой отъезд? Но он не сделал этого по той простой причине, что, даже допуская, что Одар был уполномочен самой императрицей и что те приготовления к государственному перевороту, на которые намекал пьемонтец, существовали в действительности, он считал их все-таки недостаточно серьезными и притом обреченными на верный неуспех. Того же мнения был и Беранже. Десять дней спустя после отъезда барона Бретейля Одар опять заявил о себе, назначая Беранже свидание поздно ночью где-то в пустынном месте. Но, вместо записки, которую требовал барон, он принес ему другую: «Покупка, которую мы имели в виду, будет наверное вскоре сделана, но обойдется гораздо дешевле; поэтому деньги более не нужны», — стояло там. Итак, императрица не просила уже ни о чем больше. Беранже был этому очень рад, тем более, что ее второе поручение, переданное через Одара, показалось ему еще более подозрительным, во всяком случае более странным, чем первое. Зачем, уже не нуждаясь в его помощи для дела, о котором шла речь, его все-таки извещали о том, что оно в скором времени будет приведено в исполнение? К чему это могло послужить? Разве только к тому, чтобы доказать неосторожность и легкомыслие пресловутых заговорщиков? Беранже увидел «столько тумана в голове господина Одара, столько лиц, замешанных в этой тайне, такую бессмыслицу в их поступках и такое бессилие», что не сомневался в полном их поражении. Имена руководителей заговора, названные ему, еще более укрепили его в этом убеждении. Это были, по словам Одара, княгиня Дашкова, «неосторожная до крайности, хотя и смелая», — говорит про нее Беранже; затем гетман Разумовский, «ленивый, ограниченный и совершенно апатичный», и граф Панин, «человек замкнутый и скромный, с мудрым и хитрым умом, но занимающий подчиненное положение». Об Орловых Одар даже не упомянул. Их имя ничего не могло бы сказать в то время французскому посланнику. Какие-то поручики! Какое значение могла иметь их помощь?

Что касается других членов дипломатического корпуса, находившихся в то время в Петербурге, то они ни о чем даже и не подозревали. Переписка Мерси, вплоть до 10 июля, т.е. следующего после переворота дня, не включает в себе ни одной фразы, которая указывала бы на то, что он предвидел событие. И это не было дипломатической сдержанностью с его стороны, потому что он часто отзывался в своих письмах о Петре в очень резких выражениях. Он не стеснялся говорил также или во всяком случае давал понять, что дворцовая революция была бы благодеянием для России и в особенности для ее союзников. Но он никого не считал способным произвести ее. Это мнение разделял и Кейт. Фридрих, более проникательный или лучше осведомленный, волновался, посылал предупреждения своему новому союзнику, но и он не думал об Екатерине, как о заместительнице мужа. Он подозревал скорей заговор в пользу молодого Иоанна.

И в общем никто из лиц, наиболее заинтересованных в том, чтобы быть готовыми к великому событию, не предполагал, что оно так близко, и не ожидал его. Кто стал бы обращать внимание на подпольную и неумелую интригу нескольких безумцев? По одной версии, — она принадлежит княгине Дашковой, — сами заговорщики не были дальновиднее: «Дело уже сильно подвинулось вперед, а ни она, ни императрица, никто другой о том и не подозревали. За три часа до революции все считали, что находятся еще чуть ли не за три года до нее».

По крайней мере, до последней минуты никем не было составлено определенного плана или даже точного представления о том, как действовать и какие средства употребить, чтобы достичь намеченной цели. Каким образом низвести Петра с престола и посадить на его место Екатерину? Никто этого не знал. По признаниям, которыми Одар считал своим долгом отблагодарить Беранже, было несколько попыток овладеть особой императора, но они успеха не имели. Насколько можно судить, все действовали на авось. Княгиня Дашкова, — это возможно, — склонила на свою сторону нескольких офицеров. Братья Орловы - и это уже совершенно достоверно — раскинули по казармам широкую сеть пропаганды и подкупа. В деньгах у них недостатка не было, даже до попытки занять у барона Бретейля, сделанной в последнюю минуту. В начале марта Григорий Орлов получил место казначея артиллерийских войск. Генерал-фельдцейхмейстер, злополучный любовник княгини Куракиной, только что умер, и его преемником был назначен бывший камергер молодого двора, когда-то удаленный от Екатерины за свою будто бы чрезмерную преданность ей, — как находила тогда Елизавета, — француз Вильбуа. Вильбуа был сыном бывшего пажа Петра I, произведенного впоследствии в вице-адмиралы. Очевидно, было предначертано свыше, что француз опять сыграет выдающуюся роль в государственном перевороте, возводившем на русский престол новую императрицу, и что у Шетарди найдется-таки заместитель. Вполне вероятно, что выбор для места казначея пал на Григория Орлова, благодаря личному вмешательству новою генерал-фельдцейхмейстера, действовавшего под внушением самой Екатерины. Иначе нельзя было объяснить назначение молодого офицера на этот ответственный пост. Равносильно было бы поставить войсковую кассу на расхищение прохожим на большую дорогу. Помощник Вильбуа, генерал-лейтенант Пурчур, обратил на это внимание, но ему сказали, что Орлову покровительствует императрица, и он умолк. Казначей стал сейчас же беззастенчиво распоряжаться вверенными ему деньгами. Таким образом Орловым удалось завербовать до девяти солдат в каждом из четырех гвардейских полков: в Измайловском (это был первый полк, перед которым явилась Екатерина в день государственного переворота), в Семеновском, в Преображенском и в Конно-гвардейском, где служил знаменитый Потемкин.

Екатерине приходилось в то время оказывать иногда непосредственную и личную помощь своим приверженцам. Но в общем она держала себя, по-видимому, в этом отношении чрезвычайно осторожно и сдержанно. Например,

один из солдат, переманенных Алексеем Орловым. гренадер Стволов, потребовал какого-нибудь знака от императрицы, чтобы убедиться в действительности заговора. Ему обещали, что, если он будет стоять на ее дороге во время прогулки государыни по парку императорского дворца, то ее величество даст ему облобызать свою руку. Екатерина охотно согласилась на этот маневр, так как ничем при этом не рисковала. «Ведь мне все целовали руку», говорила она впоследствии Храповицкому. Но добрый солдат был тронут до глубины души. Он со слезами склонился над рукой императрицы и стал ее горячим сторонником.

Последним же человеком, уверовавшим в этот заговор, была, насколько можно судить, сама Екатерина. В рассказе, сохранившемся об этой эпохе ее жизни, — его приписывают ей самой, — она говорит, что стала обращать внимание на предложения, которые ей делали с самой смерти Елизаветы, только с того дня, когда, публично оскорбив ее, Петр дошел в своей дикости и злобе до того, что хотел ее арестовать. Это случилось, как мы знаем, 21 июня, т.е. за несколько недель до государственного переворота. Но и после этого времени, и вплоть до того дня, когда Петр был лишен престола, ничто не указывает на активное участие будущей самодержицы в происках ее друзей. До роковой минуты Екатерина, по-видимому, стремилась только разыгрывать роль наружного спокойствия и выдержки. И в этом отношении она была бесподобна. Искусство, с которым она умела противопоставлять поведению мужа свое собственное и подчеркивать все отталкивающее в его выходках тем, что во всех поступках доводила до крайности противоположные побуждения, — ставит ее в первые ряды политических актрис всех времен. Смерть Елизаветы и множество сложных церемоний при ее погребении, предписываемых и обрядами православной церкви и этикетом двора, дали новому императору первую возможность проявить всю странность и грубость своего характера. Он не преминул воспользоваться этим случаем и выказал себя до последней степени непристойным. Екатерина же, напротив, вызвала всеобщее восхищение и сочувствие теми знаками почтения и дочерней преданности к покойной, на которые не скупилась.

«Никто, — писал про нее барон Брстейль, — так не усердствует в воздаваниях последнего долга покойной императрице, которая, по правилам греческой веры, очень разнообразны и полны суеверия; она (Екатерина) наверное в душе над ними смеется, но духовенство и народ считают, что она глубоко растрогана ими, и ставят ей это в заслугу».

Сохранился портрет Екатерины в траурном платье, которое она не снимала в то время ни на один день. Притом она строго соблюдала все церковные службы, посты и праздники, к которым Петр относился с нескрываемым и полным презрением. На торжественной обедне в придворной церкви по случаю праздника Троицы австрийский посланник с удивлением увидел, что император без стеснения разгуливает по храму и громко разговаривает с придворными кавалерами и дамами, в то время как

императрица, стоя неподвижно на своем месте, казалась погруженной в молитвы.

Петр, становившийся все более несдержанным, забывался ежеминутно до того, что доходил до кулачной расправы с лицами своей свиты, даже с высокими сановниками и верными своими слугами, и делал это публично, на глазах у всего двора. Нарышкин, Мельгунов, Волков подверглись поочередно этому оскорблению. Екатерина же была воплощением самой кротости. Все соприкасавшиеся с нею оставались в восторге от ее приветливости, от ровности ее нрава, от ее любезности. В противоположность грубости мужа, от которой ей самой приходилось страдать, она держала себя с таким достоинством, что невольно вызывала общую симпатию, не допуская в то же время, чтобы это чувство переходило в жалость к ней и в признание ее опалы. На знаменитом банкете, где ее называли душой, она пролила несколько слез, как раз столько, чтобы растрогать свидетелей этой тяжелой сцены; но потом сейчас же, повернувшись к графу Строганову, стоявшему за ее креслом, она попросила его рассказать ей что-нибудь веселое, что рассмешило бы ее и отвлекло бы внимание присутствующих.

Была минута, когда она сумела замаскировать свои чувства настолько, что казалась благосклонной и снисходительной к самому Петру. Все дипломаты отмечают в своих письмах неожиданное сближение между августейшими супругами. Императрица, улыбающаяся и обворожительная, стала появляться на ужинах Петра, на его оргиях пива и табака. Она мужественно переносила запах трубок, тяжелое дыхание перепившихся немцев и их грубые шутки. Для Екатерины наступала критическая минута. Как мы уже говорили, она была беременна. И ей надо было во что бы то ни стало скрыть от всех свое положение, в особенности от императора. Говорят, что в день, когда у нее начались роды, ее верный слуга Шкурин поджег свой дом, расположенный в предместье города, чтобы отвлечь туда любопытных. Петр, разумеется, тоже побежал на пожар, чтобы насладиться его зрелищем и раздавать направо и налево бранные слова и удары палкой. За ним последовали все фавориты. И Екатерина 23 апреля благополучно разрешилась от бремени сыном, которому было дано имя Бобринского и который положил основание одному из знатнейших родов в России. Мы еще встретимся с ним впоследствии. Приблизительно в это же время, в ответе на комплимент одного из придворных, восхищавшегося цветущим видом и красотой императрицы, блестящей, как луч света, среди приближенных, у нее вырвалось такое признание:

«Если бы вы знали, чего стоит иногда быть красивой!»

Но что же ожидало ее дальше, в будущем? Этого она, вероятно, сама не представляла себе ясно. Она знала, конечно, что подземная работа ее друзей должна была когда-нибудь выйти на свет и произвести взрыв; что безумства мужа должны вызвать кризис: тогда она могла бы начать действовать. И стала бы действовать наверное без всякого колебания; это она знала также. Но пока, как она говорила княгине Дашковой, она всецело полагалась на Провидение.

По мнению Фридриха, ей и не оставалось, впрочем, ничего другого. «Она еще ничем не могла руководить, — говорил он впоследствии, припоминая все обстоятельства государственного переворота 1762 года: — она просто бросилась в объятия тех, кто хотел спасти ее». Да в Екатерине никогда и не было умения вести интригу, комбинировать, не было той осторожности и ловкости, которые необходимы, чтобы довести до конца трудное предприятие. Сила Екатерины была в ее несокрушимой воле. Здесь она действительно почти не знала себе равных. Но, благодаря этому складу своего характера, она по преимуществу должна была рассчитывать, — что и делала всю свою жизнь, — на ту высшую и таинственную силу, к которой взывала в своем разговоре с княгиней Дашковой, и могущество которой признавал и сам Фридрих, хотя и называл ее непочтительно: «Его священное величество случай». И, вручая свою судьбу Орлову, как это было теперь, или Потемкину, как это было впоследствии, Екатерина и отдавалась, собственно говоря, именно случаю. С Орловым он принес ей счастье; с Потемкиным и счастье и, пожалуй, гений. Когда же с Зубовым он не дал ей ни гения, ни счастья, это было ее гибелью. Но Екатерина все-таки осталась великой. В настоящую же минуту случай должен был даровать ей победу. Впрочем, она была обязана этой победой не ему одному: ей помог в ее смелом предприятии тот самый человек, против которого оно было направлено. «Он дал прогнать себя с престола, как мальчик, которого отсылают спать», — сказал все тот же Фридрих про Петра III.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Победа

I. Отъезд Петра III в Ораниенбаум. — Его воинственные замыслы. — Безопасность, в которой он считал себя. — Екатерина едет в Петергоф. — Петр отправляется за ней туда же. — Он уже не застает там императрицы. — Государственный переворот совершился. — Как становятся самодержицей всея России. — Орловы. — Измайловский полк. — Попытки сопротивления. — Да здравствует императрица! — Панин. — Маленький Павел. — Сенат и синод. — Канцлер Воронцов. — Княгиня Дашкова. — Учреждение нового правительства. — II. Колебания Петра. — Поездка в Кронштадт. — "Нет больше императора!.." — Отступление. — Смелые планы фельдмаршала Миниха. — Петр решается на переговоры. — Екатерина со взбунтовавшимися полками идет навстречу мужу. — Императрица на коне. — Отречение. — Заключение в Ропшу. — Пребывание Екатерины в Петергофе. — Въезд императрицы. — Григорий Орлов. — Начало фаворитизма. — III. Последние испытания. — Волнение в войсках. — Письмо к Понятовскому. — Что думал последний караульный солдат при виде императрицы. — Самообладание Екатерины. — Ее хладнокровие. — Щедрость. — Подарки и вознаграждения. — Возвращение Бестужева. — Разочарованные и недовольные. — Миних. — Княгиня Дашкова. — Генерал Бецкий. — Светлая заря нового царствования. — Туча. — IV. Драма в Ропше. — Виновные. — Екатерина, Орлов или Теплов? — Преступление или отказ от правосудия? — Кровавое пятно. — Заключение.

I

Петр выехал из Петербурга в Ораниенбаум 24 июня. 22 он давал большой ужин на пятьсот персон, после которого был сожжен великолепный фейерверк, все в честь того же мира, заключенного с Пруссией. 23 были новые празднества, и банкеты продолжались в Ораниенбауме в более интимном кругу. Но на этот раз Петр должен был оставаться недолго в своей летней резиденции. Он вскоре отправлялся к армии, в Померанию, откуда собирался произвести набег на датчан в ожидании более широкого поля битвы, куда бы его призвал его новый союзник, и где он мог бы прославить свое имя. Петр рассчитывал выехать из России морем в конце июля. Флот не был, положим, вполне готов к плаванию. Болезни сильно сократили наличный состав матросов. Но это Петра не смущало. Он подписал указ о том, чтобы больные матросы стали немедленно здоровы.

Воинственные замыслы Петра против Дании немало тревожили его друзей, начиная с самого Фридриха. Уполномоченные прусского короля, барон Гольтц и граф Шверин, не раз высказывали Петру свои опасения на этот счет. Было ли благоразумно со стороны императора покинуть столицу и страну, не успев еще укрепить свой престол и даже не короновавшись? Фридрих особенно настаивал на этом последнем пункте. Прежде, чем предпринимать что бы то ни было, Петр должен был бы отправиться в Москву и возложить на свою голову царский венец. В такой стране, как Россия, этот вопрос формы имел громадное значение. Но Петр никого не хотел слушать. «Кто умеет уживаться с русскими, может быть уверен в них», отвечал он. Он думал, что обладает этим умением.

Но он был убежден также и в том, что держит в руках всех внутренних врагов и предполагаемых участников заговора. Ему уже указывали на Орловых. Один из близких им людей, поручик Перфильев, выдал их царю и взялся выслеживать пятерых братьев с тем, чтобы обойти их в их намерениях. Но они обошли его самого и таким образом заставили его обмануть Петра: Орловы заподозрили в нем изменника и в последнюю минуту над ним насмеялись.

Екатерина, которую Петр имел неосторожность оставить одну в Петербурге, тоже должна была вскоре выехать оттуда на лето. Петр приказал ей поселиться в Петергофе. В Ораниенбауме же царствовала Елизавета Воронцова, а Павел оставался в Петербурге под надзором Панина. Петр рассчитывал, впрочем, еще увидеться с женою до своего отправления в поход. Он отложил этот отъезд до 10 июля (29 июня), дня своего ангела. Он хотел отпраздновать его в Петергофе и выехал туда 9 июля утром, чтобы присутствовать на следующий день на парадном обеде, который императрица должна была дать в его честь. Петр ехал медленно, влача за собою бесчисленную свиту, среди которой было семнадцать дам. Он добрался до Петергофа только к двум часам дня. Но здесь его ждала полная неожиданность: дворец был пуст. Петра встретили только несколько слуг с перекошенными от испуга лицами.

— А где императрица?

— Уехала.

— Куда?

Никто не знал или не хотел ответить. Подошел крестьянин и передал Петру какую-то бумагу. Это была записка от Брессана, бывшего французско-камерданера Петра, которого он назначил управляющим фабрикой гобеленов. Так создавались в то время в России карьеры! Брессан писал, что императрица с утра отбыла в Петербург, где провозгласила себя единой и самодержавной государыней. Петр не поверил. Он, как сумасшедший, бросился в опустевшие комнаты императрицы, искал ее по всем углам, обежал сады, громко клича Екатерину. Растерянная толпа придворных следовала за ним в этих бесполезных поисках. Наконец пришлось сдаться перед очевидностью.

Что же именно произошло? Это неизвестно в точности. Здесь мы опять сталкиваемся с теми неясностями и противоречиями, с которыми нам приходилось уже встречаться в течение этого рассказа. Повествование княгини Дашковой вызывает мною сомнений; рассказ Екатерины тоже неправдоподобен. В ночь с 8 на 9 июля подругу Екатерины разбудил один из Орловых и сообщил ей об аресте капитана Пассека, принимавшего участие в заговоре. Заговор, следовательно, был открыт, и все его участники обречены на гибель. Княгиня Дашкова не стала колебаться. Она приказала забить тревогу в Измайловском полку, — он считался самым преданным из всех, — подготовить его к приему императрицы и послать за Екатериной в Петергоф. Так и сделали. Но со стороны Орловых княгиня встретила все-таки некоторое сопротивление. Младший из братьев, Федор, вернулся к ней через несколько часов и передал ей об их сомнениях: не рано ли было приступить к последнему, рискованному шагу? Но княгиня пришла в страшный гнев. Они ведь и так потеряли уже много времени! Федор Орлов не посмел возражать ей, и ее приказания были исполнены. Вот версия преданной подруги Екатерины. Сама же императрица рассказывает совсем другое. В своем письме к Понятовскому она негодует на Ивана Шувалова, «самого низкого и подлого из людей», который осмелился написать Вольтеру, что «девятнадцатилетняя женщина сменила правительство в России». Орловы, утверждает она, наверное сумели бы придумать что-нибудь лучше, чем подчиниться взбалмошной девчонке. До последней минуты «от нее (княгини Дашковой) скрывали, напротив, все наиболее важные сведения». Все совершилось будто бы под «личным» руководством Екатерины, и ее одной, благодаря мерам, принятым ее и главарями заговора еще «за шесть месяцев». За шесть месяцев! Так ли это? И не говорила ли раньше сама Екатерина, что она стала придавать значение предложениям свергнуть Петра с престола только после того, как он оскорбил ее публично, т.е. лишь за три недели до 9 июля?

Во всем этом очень трудно разобраться, — как и во всех женских ссорах, впрочем, основанных на зависти. К тому же, и Екатерина и Дашкова могли быть вполне искренни, восстанавливая в своей памяти через много лет это прошлое, уже потускневшее под влиянием пережитого, и приписывая себе воображаемую роль в событиях, которыми они обе, казалось, руководили, но которые в действительности вели их самих за собой. Вполне вероятно, что

арест Пассека, вызванный, по-видимому, какой-то случайной причиной, ускорил дело, заставив заговорщиков идти на риск, чтобы спасти свои головы, которые они считали в опасности. Но достоверно только одно: 9 июля, в пять часов утра, Алексей Орлов неожиданно явился в Петергоф и увез с собою в Петербург императрицу.

Екатерина крепко спала, — мы знаем эту подробность от нее лично, — когда в ее комнату вошел молодой офицер. Следовательно, между ними ничто не было заранее условлено, и Екатерину застали врасплох. Чтобы понять сцену, которая разыгралась тут, по собственному свидетельству императрицы, в ее спальне, надо знать, что такое непосредственно русские натуры, одной из которых являлся этот Орлов. Таких людей можно еще и теперь встретить в России. Мысль у них никогда не бывает сложна, и выражение ее совершенно просто. Искусство подготовить человека к удару или придавать различные оттенки своим словам для них неизвестно. Они говорят прямо то, что им нужно сказать, идя непосредственно к цели самым кратчайшим путем. Они тем же тоном и в тех же выражениях рассказывают о самой банальной вещи, как и о самой трагической. Их манера говорить напоминает в своем роде игру на монохорде. Если бы даже луна упала с неба, то подмосковный мужик сказал бы всем об этом: «Луна свалилась», тем же голосом, как если бы он говорил о рождении теленка. Алексей Орлов, разбудив императрицу, сказал ей поэтому просто:

— Вставайте! Все готово, чтобы провозгласить вас.

Она хотела, чтобы он дал ей хоть какие-нибудь объяснения. Но он сказал еще: «Пассек арестован. Надо ехать». И замолчал. Екатерина быстро оделась, «не делая туалета», и села в карету, в которой приехал Орлов. Одна из ее горничных, Шаргородская, заняла место рядом с нею. Орлов взобрался на козлы, верный Шкурин стал на запятки, и тройка помчалась в Петербург. По дороге они встретили Мишеля, французского парикмахера императрицы, который отправлялся во дворец для ее утренней прически. Его захватили с собою.

До города оставалось проехать километров тридцать; лошади, только что пробежавшие это расстояние, везли теперь с трудом. Но никто не подумал о том, чтобы приготовить запасных для перепряжки. Все чуть было не погибло из-за этой небрежности. Но две крестьянские лошади, из проезжавшей мимо телеги, спасли Екатерину (если верить одному свидетельству) и доставили ей корону. В пяти верстах от Петербурга ее встретили Григорий Орлов и князь Барятинский, начинавшие уже волноваться. Екатерина пересела в их карету, и они прибыли наконец в казармы Измайловского полка.

«Таким образом, — пишет Рюльер, — чтобы сделаться самодержавной властительницей самого обширного государства в мире, прибыла Екатерина между семью и восемью часами: она отправилась в дорогу, поверив на слово солдату, везли ее крестьяне, сопровождал любовник, и сзади следовали горничная и парикмахер».

В общем всех заговорщиков собралось не больше двенадцати человек. Несмотря на уверения Алексея Орлова, еще ничто серьезно не было приготовлено. Все по-прежнему действовали наудачу. Забили в барабан. Полураздетые, заспанные солдаты выбежали из казарм. Им приказали кричать: «Да здравствует императрица!» Они предчувствовали раздачу водки и повиновались, готовые кричать все, что угодно. Двоих из них послали за священником, которого они сейчас же привели, держа его под руки. Священник тоже безропотно исполнил все, что потребовали от него. Он взял крест, пробормотал слова присяги, солдаты подняли руки: все было кончено, императрица была провозглашена.

«Престол в России не наследуется, не занимается по праву выбора, — им овладевают», — сказал неаполитанец Караччиоли.

В провозглашении Екатерины вовсе не упоминалось о Павле. Екатерина была объявлена единой и неограниченной государыней, самодержицей. Это не отвечало интересам Панина. Но разве было до Панина в эту минуту, и кто стал бы думать о нем?

«Тупоумные принцы, — говорит Герцен, — едва умевшие говорить по-русски, немки и дети садились на престол, сходили с престола... горсть интриганов и кондотьеров заведовала государством».

Из других гвардейских полков один Преображенский оказал некоторую попытку сопротивления. Семен Воронцов, брат фаворитки, командовал в нем ротой и не пожелал помогать делу, которое должно было погубить его сестру. Это был, впрочем, человек долга и чести, — он доказал это впоследствии. Он обратился с речью к солдатам; майор Воейков поддержал его и, увлекая за собою полк, они решительно двинулись против взбунтовавшихся товарищей, следовавших за Екатериной. Обе маленькие армии встретились перед Казанским собором. На стороне Екатерины было превосходство численностью, но войска ее представляли собою беспорядочную толпу. Преображенцы же, напротив, шли под командой своих офицеров стройными рядами и в грозном, боевом порядке: они могли еще решить участь того дня.

Но тут сказалось счастье Екатерины. В ту минуту, когда мятежники и оставшиеся верными Петру солдаты остановились в нескольких шагах друг от друга, уже готовые схватиться врукопашную, один из сослуживцев Семена Воронцова, шедший в хвосте полка, неожиданно крикнул: «Ура! Да здравствует императрица!» Это был словно сигнальный выстрел. Весь полк подхватил этот крик и ринулся вперед; солдаты обнимали своих товарищей и, упав на колени, молили у царицы прощение за то, что не признали ее сразу; они во всем обвиняли офицеров. Воейков и Воронцов переломили шпаги. Их арестовали. Впоследствии Екатерина простила их, но никогда не забывала им их поступка. Воронцов должен был выйти из армии, так как, несмотря на свои выдающиеся достоинства и блестящие заслуги, видел только одно недоброжелательство к себе. Он был назначен послом в Лондон, где и жил как бы в почетном изгнании.

Теперь все устремились в Казанский собор, куда вошла Екатерина, чтобы принять присягу на верность своих новых подданных. Вскоре показался и Панин. Говорят, что в его карете сидел маленький Павел в ночном чепце. Таким образом, ребенок присутствовал, может быть, при собственном свержении с престола, потому что то, что происходило в соборе, было, несомненно, лишением его принадлежащей ему по праву власти, во всяком случае временным. Из чтимого народом храма Екатерина перешла в Зимний дворец, который столько раз был свидетелем ее унижений, и где теперь ее встретила раблепная толпа. Явились и сенат, и синод в полном составе. У этих двух высоких учреждений вошло за последнее время в привычку идти послушно за гвардейскими полками. Пришло еще одно лицо, которого Екатерина никак не ожидала видеть: канцлер Воронцов. Он ничего не понимал в том, что совершилось, и наивно спросил Екатерину, почему она оставила Петергоф. Вместо ответа она сделала знак, чтобы его увели. Ему приказали пойти в церковь и присягнуть императрице. И он повиновался.

Наконец, расталкивая всех локтями, взволнованная, задыхающаяся и даже слегка разочарованная, прибыла и воображаемая устроительница всего этого торжества, княгиня Дашкова. Ее карету не допустили к подъезду дворца, но, если верить ей, герои дня, офицеры и солдаты, стоявшие вокруг, подхватили ее с земли и понесли на руках. Ее платье и прическа, несомненно, пострадали при этом, но зато это послужило ей вознаграждением за огорчения, которые ее ожидали. Ее свидание с императрицей было более коротким и менее торжественным, нежели она рассчитывала. Теперь было не до нежных излиятий и не до пышных церемоний. Приходилось работать серьезно. Прежде всего надо было придать официальную форму тому, что было импровизировано в порыве юношеского увлечения и победительной смелости. Необходимо было издать манифест. Его поручили составить мелкому канцелярскому чиновнику, Теплому. Но почему же не Панину? Этот вопрос возбуждал много толков. Говорили, что воспитатель маленького Павла счел удобным и возможным высказать императрице в эту минуту план, который он лелеял в пользу своего ученика. Но, по одной версии, офицеры Измайловского полка воспротивились тому, чтобы Екатерина подписала обязательство царствовать лишь до совершеннолетия Павла. По другой, условие, продиктованное Паниным и представленное им императрице, было подписано ею и отдано на хранение в архив сената, но Орловы, как утверждали одни, или канцлер Воронцов, по словам других, взяли оттуда документ и отдали его в распоряжение Екатерины. Но это кажется нам маловероятным. Панин не был человеком, способным поверить так легко подобной уступке со стороны Екатерины, и должен был понимать, что гарантия, данная ею при таких условиях, была бы совершенно ничтожна. Он знал историю своей родины. Императрица Анна взшла на престол, подписав настоящую конституционную хартию. Но не прошло и шести недель, как о ней не было и речи. Во всяком случае будущий первый министр мог иметь другие веские причины, по которым не стал принимать участия в редактировании манифеста.

Манифест же, составленный Тепловым, был отпечатан и прочтен народу, и народ кричал: «Да здравствует императрица!» — как кричали прежде солдаты. Екатерина произвела смотр войскам; они еще раз приветствовали ее, и новому царствованию было положено начало: за этот день не было пролито ни одной капли крови. В разных местах были отдельные попытки к беспорядкам. Народ ворвался в дом принца Георга Голштинского и разгромил его. Сам принц и его супруга подверглись насилию. Солдаты срывали кольца с пальцев принцессы. Кроме того, гвардейцы взломали несколько магазинов, требуя водки. У одного купца было выпито вина на 4.000 рублей. Но иски об убытках, предъявленные потерпевшими, не превышали в общем 24.000 рублей: это было так мало, что об этом не стоило и говорить. И только вечером, когда прошла первая минута опьянения, и Екатерина осталась в Зимнем дворце одна вместе со своими друзьями, их разгоряченные головы охватила тревога. Если, с одной стороны, все говорило за то, что новое правление было учреждено, то, с другой, в сущности еще ничего не было сделано, чтобы завоевать престол: ведь Петр мог оказать им сопротивление.

Было ли это в его силах?

При серьезном размышлении здесь не могло быть двух мнений. А Панин, может быть, и занимался в ту минуту таким размышлением. При Петре находился отряд голштинцев в полторы тысячи человек; они были превосходно обучены и наверное стали бы бороться за Петра до последней возможности, защищая этим и самих себя от верной опалы. Этой маленькой армией командовал первый полководец России и даже один из лучших во всей Европе — фельдмаршал Миних. Вызванный недавно из сибирской ссылки новым императором, он тоже не бросил бы своего благодетеля. В распоряжении же Екатерины были только те четыре полка, что провозгласили ее императрицей. Главные силы русской армии были сосредоточены в Померании и не перешли еще ни на чью сторону, или, вернее, оставались по-прежнему на стороне Петра и готовы были исполнять только его приказания. И если бы Петр вступил в борьбу с Екатериной, выиграл время и воздействовал бы на померанскую армию именем и славою своего знаменитого полководца, разве она не послушала бы его зова и не примчалась к нему на помощь? Он был императором и готов был лично принять участие в войне: и то, и другое всегда кажется обаятельным в глазах солдат, особенно тех, что только что выиграли ряд блестящих сражений. Недовольна Петром была только гвардия; но остальные рода оружия, как и Петр, смотрели на нее недоброжелательно: они завидовали ее привилегированному положению. Орловы, вербуя себе сторонников, не выходили за пределы гвардии. Все это, вместе взятое, могло грозить Екатерине страшной опасностью в будущем.

Но где же был Петр, что он думал и что делал в эту минуту?

II

Убедившись, что императрицы нет там, где он рассчитывал найти ее, Петр все еще не соглашался признать истину и сознать всю глубину своего несчастья. Его доверенный Перфильев ни о чем не предупредил его. Несчастный Перфильев провел ночь, играя в карты с Григорием Орловым, и думал, что держи! его, таким образом, под своим надзором! Петр решился послать на разведки. Вокруг него было много народа, и канцлер Воронцов, князь Трубецкой, Александр Шувалов сейчас же предложили отправиться в Петербург. Но ни один из них не вернулся. Наконец приехал из отпуска один голштинец, пробывши в городе сутки; он подтвердил печальные известия. Было уже три часа пополудни. Тогда Петр принял другое решение: он призвал Волкова и приказал ему составить несколько манифестов. Он начинал бумажную войну. Впрочем, он сдался на увещания Миниха и послал в Кронштадт одного из своих флигель-адъютантов, графа де-Вьера, чтобы обеспечить за собою этот важный пункт. Через час он вспомнил, что сам солдат: он надел парадный мундир и послал за голштинцами, остававшимися в Ораниенбауме. Он хотел укрепиться в Петергофе и выдержать здесь восстание. Голштинцы прибыли к восьми часам, но Петр уже изменил намерение. Миних не ручался за то, что в Петергофе можно выдержать осаду. Он хотел, чтобы государь сам отправился в Кронштадт вместо того, чтобы посылать туда гонцов. У Миниха был свой план. Неожиданно Петр решил повиноваться фельдмаршалу. На дворе была уже ночь. Все выехали все-таки из Петергофа; казалось, что они отправляются на увеселительную морскую прогулку. Мужская и женская свита Петра разместились на яхте и на гребной галере. Они прибыли к Кронштадту в час ночи.

— Кто идет? — окликнул часовой с крепостной стены.

— Император.

— Нет больше императора! Отъезжайте.

Графа де-Вьера опередил посланный Екатерины, адмирал Талызин.

Но Миних не отчаялся. Вместе с Гудовичем он умолял Петра высадиться, несмотря ни на что. По ним не осмелились бы стрелять. Они за это отвечали. Но Петр спустился уже вглубь трюма. Ему до сих пор приходилось иметь дело только с картонными крепостями. Он дрожал всем телом. Женщины пронзительно кричали. Пришлось повернуть назад.

Тогда Миних предложил Петру другое: доехать до Ревеля, сесть на военный корабль, отправиться в Померанию и принять там командование армией.

— Сделайте это, государь, — говорил старый солдат, — и через шесть недель Петербург и вся Россия будут опять у ваших ног. Ручаюсь вам в том головою.

Но у Петра истощился уже весь запас энергии. Он мечтал только о том, как бы вернуться скорее в Ораниенбаум и начать оттуда переговоры с императрицей. Поехали в Ораниенбаум. Здесь Петр опять встретил неожиданное известие: Екатерина покинула Петербург и вместе со своими полками шла навстречу Петру и голштинцам.

Шествие Екатерины, в противоположность Петру, было триумфальным. Она ехала впереди войск на коне, в мундире, взятом у одного из семеновских офицеров. Ее меховую соболью шапку украшал венок из дубовых листьев, а длинные волосы развевались по ветру. Рядом с нею, в таком же мундире, скакала на коне княгиня Дашкова. Солдаты были в восторге. Они в дружном порыве сбросили с себя мундиры, в которые их нарядил Петр III, изорвали их или продали старьевщикам и надели на себя старую боевую форму, ту, что Петр I тоже выписал для них из Германии, но считавшуюся теперь уже национальной. Они горели желанием помериться с голштинцами силой.

Но им не доставили этого удовольствия. После длинного ночного перехода их встретил в пять часов утра парламентар Петра. Это был князь Александр Голицын. Император предлагал императрице разделение власти. Екатерина не удостоила его ответом. Через час она получила от мужа акт отречения. Она остановилась в Петергофе, куда привезли также и Петра. Панин, которому было поручено передать ему последнюю волю императрицы относительно его личной участи, нашел его в самом жалком состоянии. Петр порывался целовать ему руки, умоляя его, чтобы его не разлучали с его любовницей. Он плакал, как провинившийся и наказанный ребенок. Фаворитка бросилась к ногам посланного Екатерины и тоже просила, чтобы ей позволили не оставлять любовника. Но их все-таки разлучили. Воронцова была послана в Москву, а Петру назначили временным пребыванием дом в Ропше, «местности очень уединенной, но очень приятной», по уверению Екатерины, и расположенной в тридцати верстах от Петергофа, — в ожидании, пока ему будет приготовлено подходящее помещение в Шлиссельбургской крепости, этой русской Бастилии.

На следующий день, 14 июля, Екатерина торжественно въехала в Петербург. Таким образом, ее пребывание в Петергофе продолжалось не более нескольких часов. Но и за это короткое время, — не считая отречения Петра, — там совершилось нечто знаменательное. Княгиня Дашкова сделала там открытие, — она говорит об этом с грустью в своих «Записках», — сильно поразившее ее, что показывает, как она была еще наивна для устроительницы заговоров. Войдя к императрице в час обеда, она увидела в зале человека, растянувшегося во весь рост на диване. Это был Григорий Орлов. Перед ним лежала куча запечатанных пакетов, которые он собирался небрежно вскрыть.

— Что вы делаете? — вскричала княгиня. Она узнала по внешнему виду документов, что это бумаги из государственной канцелярии, которые ей приходилось часто видеть в доме своего дяди. — Это государственные бумаги. Никто не смеет читать их, кроме императрицы и лиц, специально ею для того назначенных.

— Совершенно верно, — ответил Орлов, не меняя позы и с тем же видом пренебрежительного равнодушия. — Она просила меня просмотреть их.

Эта работа казалась ему, по-видимому, очень скучной, и он хотел поскорее отделаться от нее.

Княгиня была поражена. Но скоро ей снова пришлось изумиться. На противоположном конце залы был накрыт стол на три прибора. Вошла императрица и пригласила подругу сесть к столу. Третье место предназначалось для молодого поручика. Но он не двинулся. Тогда императрица приказала перенести стол к дивану. Они с княгиней Дашковой сели против молодого человека, который продолжал лежать. У него, кажется, болела нога.

Становилось ясно, какое место он займет возле новой государыни: это было начало фаворитизма.

III

В Петербурге Екатерину ожидали еще испытания. В самую ночь ее возвращения вокруг дворца поднялся страшный шум. Солдаты Измайловского полка хотели видеть императрицу, чтобы убедиться, что ее не похитили. Она должна была встать с постели, опять надеть свой мундир, чтобы их успокоить.

«Я не могу и не хочу, — писала она несколько месяцев спустя Понятовскому, — говорить вам о препятствиях к тому, чтобы вы приехали сюда... Мое положение таково, что я должна быть очень осторожна, и последний солдат, видя меня, говорит в душе: Вот дело моих рук! Я умираю от страха за письма, которые вы мне пишете».

Впрочем, она изумительно стойко держалась среди затруднений и опасностей своего положения. Во время подготовки и затем выполнения государственного переворота она не проявила некоторых способностей, необходимых для человека, стоящего во главе заговора: в ней не было ни большой предусмотрительности, ни особенной ловкости. Но зато она поражает нас в эти минуты смелостью, хладнокровием, решительностью и, главное, удивительным искусством придавать внешний декорум своим поступкам. Этими же качествами она отличалась и в первые месяцы по вступлении на престол: все свидетели событий, разыгравшихся в то время в Петербурге, единодушно восхищаются ее спокойствием, ее приветливым, но царственным видом, величием, любезностью ее обхождения и манерой держать себя. Она уже выказывала себя непоколебимой.

Но Екатерина не пренебрегала и другим избранным ею еще издавна излюбленным средством, чтобы покорять себе чужие воли и привлекать сердца: с первого же часа она явилась великодушной государыней, умеющей награждать тех, кто служит ей, и щедрой до избытка. Из рук ее полился настоящий Пактол на создателей ее счастья. К 16 ноября 1762 года цифра розданных ею наград, не считая жалованных имений землями и крестьянскими душами, достигла уже 795.622 рублей, т.е. почти четырех миллионов франков по тогдашнему курсу. При этом деньги выдавались обыкновенно в значительно уменьшенном размере против назначаемого вознаграждения. Так, Григорий Орлов получил только 3.000 рублей вместо 50.000, пожалованных ему. Но казна была в то время сильно истощена. Княгине Дашковой, как значится по

счету, было выдано 25.000 рублей. Сумма в 225.890 рублей была истрачена на уплату полугодового жалования штаб-офицерам полков, принимавшим участие в государственном перевороте. На долю солдат досталось меньше. Их щедро угостили вином в день 12 июля. И, благодаря этому, расход на них возрос в общем до 41.000 рублей, т.е. более чем до 200.000 франков. Но нужно признаться, что некоторое время спустя после великого события значительное число этих преторианцев очутилось в полной нищете, и Екатерина уже ничего не стала делать, чтобы спасти их: они ей были теперь больше не нужны.

Она не забыла и отсутствующих. Одной из первых ее забот было послать гонца к бывшему канцлеру Бестужеву, чтобы возвестить ему о своем восшествии на престол и призвать его в столицу. Екатерина выбрала к нему гонцом с этою доброю вестью Николая Ильича Кольшкина, служившего в феврале 1758 года сержантом в гвардии; он был приставлен тогда наблюдать за ювелиром Бернарди, замешанным в процессе Бестужева, и облегчил уже известную нам переписку великой княгини с заключенными. Екатерина помнила обо всем этом. Однако она готовила разочарование своему бывшему политическому сообщнику. Бестужев сейчас же примчался на ее зов. Она встретила его с распростертыми объятиями. Екатерина была искренне рада иметь под рукою человека такой опытности и такого авторитета. Она всегда превозносила его имя и бывшие заслуги, часто спрашивала его советов. Но он наверное рассчитывал на большее: он думал занять свой прежний пост всемогущего министра и пользоваться теперь еще большим влиянием, чем при Елизавете. И в этом он совершенно ошибся.

Таким образом, возле Екатерины были все-таки обиженные ею. Одним из первых среди них был фельдмаршал Миних, который поспешил присягнуть новой императрице. Она, по-видимому, не ставила ему в вину то содействие, притом бесполезное, которое он оказал Петру. Он исполнял тогда только свой долг. Он с большим достоинством высказал ей это, и она с таким же достоинством выслушала его. Но она поступила с ним, как с Бестужевым. Она вежливо отклонила его услуги. По выражению одного современного государственного деятеля, она находила, что при новом положении вещей нужны и новые люди.

Разочарованной была также и княгиня Дашкова. Она представляла себе царствование Екатерины, как непрерывную феерию, в которой она по-прежнему будет потрясать каждый день судьбы империи, гарцуя на прекрасном коне во главе колонны гренадер. Она вошла во вкус военных мундиров, интриг и парадов. И она находила, что ее не сумели ни вознаградить по заслугам, ни использовать по способностям. Мы еще встретимся с нею впоследствии со всеми ее мечтаниями, претензиями и сумасбродствами, отравившими ей жизнь и причинившими немало неприятностей и ее августейшей подруге. Мы встретимся также и с Бестужевым, и с Минихом.

Екатерина чуть было не создала недовольного и в лице своего таинственного друга, о котором мы уже говорили. Не одна княгиня Дашкова приписывала себе первенствующую роль в событии 12 июля. Через четыре дня

после переворота императрице доложили о генерале Бецком. Ему было поручено раздавать деньги солдатам, завербованным Орловыми, и за это ему дали теперь ленту и несколько тысяч рублей; Екатерина думала, что он пришел благодарить ее. Но он опустился на колени и, не вставая с пола, стал умолять императрицу, чтобы она при свидетелях сказала ему, кому она обязана короной.

— Богу и избранию моих подданных, — ответила просто Екатерина.

Услышав это, Бецкий поднялся и трагическим жестом снял с себя ленту.

— Что вы делаете?

— Я недостойн больше носить эти знаки отличия, награду за мои заслуги, если они не признаются государыней. Я считал, что один создал ее величие. Разве не я поднял гвардию? Разве не я бросал золото направо и налево? Государыня отрицает это. Я самый несчастный из людей.

Императрица повернула дело в шутку.

— Хорошо, я согласна, это вы дали мне корону, Бецкий! Но зато я возьму ее теперь только из ваших рук. Поручаю вам изукрасить ее, как возможно лучше, и отдаю в ваши руки все драгоценности императорского дома.

Бецкий принял эту шутку серьезно. Он наблюдал за работой ювелиров, приготавливавших царский венец для коронавания Екатерины, и этим удовлетворился.

Так, по крайней мере, рассказывает нам эту историю княгиня Дашкова. Но возможно, что этот рассказ является отчасти плодом ее воображения.

В общем, как мы уже говорили выше, Екатерина показала себя настолько же щедрой к друзьям, как и великодушной к врагам. Ее царствование начиналось счастливо. Восторг, с которым встретила столица ее восшествие на престол, отозвался той же радостью даже в самых отдаленных провинциях. Но внезапно эта ясная заря омрачилась темной тучей. 18 июля, вернувшись из сената, где она читала манифест с искусно составленным описанием событий, доставивших ей власть, Екатерина собиралась уже выйти ко двору, когда в ее уборную ворвался человек, весь в поту и в пыли и в растерзанном платье. Это был князь Барятинский. Он во весь опор примчался из Ропши и привез императрице письмо от Алексея Орлова, возвещавшее ей о смерти Петра III.

IV

При каких же обстоятельствах скончался Петр? Это тайна. Нигде в Европе историк не наталкивался на такие затруднения, как в России, чтобы прочитать истину сквозь официальные пояснения, которые придаются здесь великим государственным событиям. Гранитные стены дворцов непроницаемы, и уста их обитателей замкнуты.

Петр с поразительной легкостью примирился со своим положением. Он сводил все свои жалобы только к трем просьбам: чтобы ему вернули его любовницу, его обезьяну и его скрипку. Время он проводил в том, что пил и курил. 18 июля его нашли мертвым. Вот почти все, что мы знаем достоверно.

Что смерть его была насильственной, почти нельзя сомневаться. В то время все были твердо уверены в этом. В своем письме к герцогу Шуазелю заведующий делами французского посольства Беранже говорит, что у него в руках есть ясные доказательства, «подтверждающие основательность всеобщего убеждения». Сам он не видел праха государя, выставленного, по обычному церемониалу, для поклонения, так как дипломатический корпус не был приглашен туда явиться, и Беранже знал, что всех, отправлявшихся в церковь на поклонение Петру, отмечали. Но он послал посмотреть на покойного государя верного человека, рассказ которого подтвердил его подозрения. Тело несчастного монарха было совершенно черно, и «сквозь кожу его просачивалась кровь, заметная даже на перчатках, покрывавших его руки». У лиц, которые по народному обычаю сочли долгом приложиться к устам покойника, распухли потом губы.

Из этих слов видно, какую большую роль играло воображение в рассказах о кончине Петра даже в дипломатических документах. Но факт насильственной смерти, тем не менее, кажется вполне достоверным. Что же касается до рода убийства, — приходится, по-видимому, признать, что убийство здесь действительно имело место, — то предположения о нем очень разноречивы. Одни говорили об отравлении бургундским, любимым вином несчастного Петра; другие — об удушении. Большинство указывало на Алексея Орлова, как на автора, вдохновителя и даже исполнителя *regicide* этого преступления. Но существует еще другой рассказ, внушающий к себе известное доверие. Он содержит совершенно иные данные. По этой версии, Орлов был вовсе непричастен этому делу. Не он, а Теплов сделал все, или, по крайней мере, всем руководил. Повинуясь его приказанию, один шведский офицер на русской службе, Шваневич, задушил Петра ремнем от ружья. Убийство было совершено при этом не 18, а 15 июля.

Был ли убийцей Орлов или Теплов, может показаться на первый взгляд вопросом второстепенным и неважным. Но в сущности это не так. Если преступление было совершено Тепловым, то, несомненно, он действовал по внушению самой Екатерины. Как бы он мог решиться иначе на такой шаг? Орлов же — дело другое. Он и брат его Григорий были и оставались еще некоторое время как бы хозяевами созданного ими положения, и могли по собственному желанию довести до конца игру, в начале которой поставили на карту собственную жизнь: они не спрашивали мнения Екатерины, когда решили произвести государственный переворот; они и теперь могли обойтись без ее согласия.

«Императрица ничего не знала об этом убийстве, — уверял Фридрих двадцать лет спустя графа Сегюра: — она услышала о нем с непритворным отчаянием; она предчувствовала тот приговор, который теперь все над ней произносят».

«Все» — сказано несколько сильно. Но большинство, бесспорно, разделяло убеждение, повторенное потом Кастера, Массоном, Гельбигом и другими. В одной газете того времени, печатавшейся в Лейпциге, кончину

Петра прямо сравнивали со смертью английского короля Эдуарда, убитого в тюрьме по приказанию своей жены Изабеллы (1327 г.). Впоследствии, после опубликования «Записок» княгини Дашковой, в общественном мнении произошел некоторый поворот. По ее словам, после смерти Екатерины Павел будто бы нашел в бумагах императрицы письмо Алексея Орлова, написанное сейчас же после трагического события, в котором Орлов открыто признавал, себя автором преступления. Это письмо было полно и опьянения кровью, и ужаса, и раскаяния. Император поднял тогда глаза к небу и сказал: «Благодарение Богу!» Но княгиня Дашкова, которая рассказывает об этой сцене, сама не присутствовала при ней, а граф Ростопчин, сохранивший копию с этого письма (напечатанного потом в «Архиве князя Воронцова», XXI, 430), говорит, что оригинал его был уничтожен.

Даже в мнениях и догадках современных авторов существуют насчет смерти Петра III большие разногласия. Но нужно признать, что сама Екатерина способствовала тому, чтобы странная загадка осталась невыясненной; она окружила ее такой тайной, какая только была во Власти самодержавной императрицы. И если Екатерину осуждают теперь несправедливо, то она сама вызвала эту клевету на себя, так как не допустила, чтобы обнародовали правду. Ожесточение, с которым она преследовала опубликование всего, что имело отношение к печальному событию, дошло до того, что она напала даже на сочинение Рюльера, хотя он и не высказал своего мнения относительно ее участия в убийстве. Затем, вопреки своему необыкновенному умению владеть собой, она не сумела в минуту катастрофы так держать себя, чтобы заставить замолчать злые языки, хотя и проявила тогда, несомненно, большую силу воли и недюжинный актерский талант. В совете, созванном ею впопыхах, было решено держать страшное известие в тайне в течение двадцати четырех часов. И после совета императрица показала при дворе, не выказывая на лице ни малейшего волнения. Только на следующий день, когда манифест оповестил сенат о мрачной кончине Петра, Екатерина сделала вид, что впервые узнает об этом: она долго плакала в кругу своих приближенных и не вышла вовсе к собравшимся придворным.

Еще одно последнее замечание, чтобы закончить обсуждение этого неразрешимого вопроса: ни Орлов, ни Теплов, никто другой, — это достоверно известно, — не были преданы суду за драму в Ропше. Таким образом ответственность за это преступление перенеслась как бы на голову самой императрицы: во всяком случае она не восставала, если и не против намерения убить Петра, то против самого убийства, как уже совершившегося факта. Руки ее, только что схватившиеся за императорский скипетр, были уже запачканы кровью. Впрочем, не одно это кровавое пятно было впоследствии на них. Но, может быть, достигнув известной высоты человеческого величия, люди принуждены почти всегда нести на себе какое-нибудь позорное клеймо, что опять низводит их до всеобщего уровня. А Екатерина, бесспорно, была великой. Как, благодаря каким качествам и несмотря на какие недостатки, мы попытаемся доказать это теперь. Не задаваясь целью написать историю ее

жизни, мы прервем здесь рассказ, которым хотели объяснить, как зародилась и началась удивительная судьба Екатерины. Этот предварительный исторический очерк казался нам необходимым, чтобы ярко и верно осветить то, что считаем истинной задачей своего труда: нарисовать портрет женщины и государыни, которая — и та, и другая — почти не знала себе соперниц в истории мира, и картину царствования, равного которому еще не было в истории великого народа.

Мы рассказали, каким образом Екатерина стала тем, чем она была; теперь же расскажем, какою она стала.